

-Ч

етыре братца пошли на речку купаться. В небе молния сверкнула, с неба камушек упал. Один перекрестился, другой недокрестился, двое за руки взялись! — оттапаторил Венька и накатил на друзей: — Чё получилось? Кто знает?

Знали, конечно, все, но связываться с Венькой не хотелось, он спорун страшный и никогда не признает, что проиграл, всегда упирал на то, что «на правду сойдется». Венька выше других ростом, серые и всегда грязные волосы торчали на темени и на затылке, придавая хозяину грозный вид. На руках «цыпушки» — летом кожа трескается от воды и грязи. «Цыпушки» были и у всех других ребятешек, кроме Славки — мать за ним следила. Этим летом она дала Косте вазелин, он вечером с мылом тер руки и смазывал, обернув платком умершей матери. Венькин отец, Анатолий Брызгин, был бригадиром тракторного отряда, а прозвище носил Беспалый, потому что в войну сплоховал, и какая-то штука разорвалась в его кулаке. «Э-э-э, — говорили вернувшиеся солдаты. — На втором году службы он не знал, как с миной обращаться? Его надо было в штрафбат или к забору, а он домой поехал с забинтованным кулаком». Анатолий по большой

пьянке проболтался, что в полевом госпитале положила на него глаз пожилая врач-хирург. Ну, не сказать, что пожилая, однако офицеры ее отодвигали, пробираясь к юным медицинским сестрам. Анатолий и до войны был парень сообразительный, выучился на тракториста, а как призывать начали, удостоверение спрятал, с командой прибыл в танковый батальон, а там признался, что хоть прав и нет, но в танкисты шибко охота. Знал, конечно, что никто его дубликаты запрашивать не будет, и остался Анатолий при батальоне на подхвате. Взрыватель у него в правой руке сработал подозрительно удачно, в аккурат перед танковой атакой — не до него. Дарья на броню и вперед, он кровавый кулак под мышку и в госпиталь. Дарья Власьева вся в предчувствии поступления раненых и обгоревших, быстро окромсала ему куски кожи и раздробленные фаланги, однако на каждом пальце по обрубку осталось. Хирург работала без особой заботы о состоянии пациента, ни обкалывания, ни наркоза — полстакана чистого спирта, это она называла прифронтовой анестезией. Анатолий мужественно перенес экзекуцию и был вознагражден поцелуем взасос. «Солдат, я тебя при госпитале оставляю, демобилизацию организую, пошли ко мне в кабинет, потискай меня, ты же мужчина». С этого момента началась у Венькиного отца новая жизнь. Три месяца обслуживал он Дарьюшку, которая оказалась на пятнадцать лет его постарше, но всегда приговаривала, что она, любовь то есть, ровесников не ищет, и выжимала из молодца все соки. На усиленном пайке Анатолий отъелся, а когда начальник медслужбы корпуса увидел его в Анатое, сразу все понял и предложил хирургу в течении суток решить судьбу солдата. Дарья Власьева подготовила протокол военно-врачебной комиссии, который без сомнения подписали все, кому следовало. Вкусивший волюшки гулеван оказался очень кстати в деревне, где выросло целое поколение нецелованных девок, и тосковали молодые вдовы и просто солдатки. Анатолий так размахнулся, что к нужному сроку не восемь ли малышей приняли повитухи, и все матери в сельсовете указали на Тольку Брызгина. Перепуганный насмерть угрозами троих отцов испорченных им девок, троих фронтовиков и отчаюг, он на годик смотался в дальнюю МТС и переждал ненастье. Вернулся с женой и двумя ребятишками, чем поверг в смятенные всю деревню. Расчет был простой: ну, привези он близнецов трехмесячных, тогда бы все было в порядке, а парнишка пяти и девчонка трехлетняя в эту арифметику не укладывались. Вся деревня говорила, что это отлились слезыньки невинных девиц и вдов-молодок, Толькой искушенных, Бог, оказывается, шельму все-таки метит, вот и попал Анатолий в руки бабочке, у которой два брата всю войну в тюрьме просидели, а сейчас вернулись поприличней победителей — в хромовых сапогах и при шляпах. Анатолий жил у вдовы на правах мужа, а когда брательники появились, смикитил, что сие не в его пользу и вроде собрал чемоданчик чтобы перебраться в общежитие. Брательникам это пришлось не по душе, Анатолию показали две обоюдоострые финки, способные продырявить его насквозь вместе с фуфайкой, и сказали, что только он от любимой сестрицы дернется, то с того дня бабы уже будут ему без надобностей. Брательники согласились, чтобы новая семья переехала в деревню мужа, но предупредили: только один раз что узнают... По приезде Анатолий неделю пил, пока председатель не пригрозил НКВД, бражку пришлось бросить и начинать работать. На том веселая часть жизни Анатолия Брызгина окончилась. Но будет еще другая.

У Кости наоборот, отец Максим должность исполнял на лошадке, вечером уезжал к работающим в поле тракторам или комбайнам, а перед тем с утра, пока бабы не ушли на работу, объезжал дома всех механизаторов. В поле кормили только один раз за счет колхоза, а во всякое иное время надо было развязывать семейный мешочек и кормиться, что супруга прислала. Мужики принимали его гостинцы, ужинали и продолжали пахать, сеять или молотить, пока погода позволяла или пока сон не валил. Особенность этих его обязанностей позволяла Максиму знать кое-что из семейной жизни, чего бы постороннему человеку знать не следовало. Было, что, стукнув в окно Ульянки Макуриной, за бесшабашно отдернутой занавеской увидел метнувшегося в сенки Ваню Соловья. Среди дня Ульянка прибежала, сунула в Максим ходочек с плетеным коробком поллитровку и стыдливо прикрылась платком. «Максим Петрович, ради Христа, никому не рассказывай, до моего донесется — зарежет ножиком. Слышь, Макся, ежели что, дак тебе-то я завсегда открою за доброту твою». Максим был большим шутником: «Ладно, сговорились, только седни не жди, от Ваньки обсохни, да на седняшний вечер у меня уже одна намечена, тех я вовсе голяком прихватил на соломенной подстилке у погреба». — «Поди, колетса солома-то?» — посочувствовала Ульянка. Максим хмыкнул: «Знамо, что колетса, дак они же не дураки, мужнин тулупчик раскинули».

Знал Максим, кто какие щи варит, вкусно из печи через чувал пахнет, или так себе. Знал и видел хлеба, какие укладывали ему бабы для мужей своих. Дивился на пышные булки, на круглые калачи, печеные на горячем поду, были и такие, что совали в мешочках твердые, как кирпичи, ковриги, и на ехидный вопрос Максима, «чего это они у тебя так испугались, что присели?» одинаково поспешно отвечали: «Ой, да квашня не подошла!» По мешочкам этим отмечал он мужиков любимых и для баб своих, как свет в окошке. Баб сердечных по кошелкам определял. В тех мешочках были баночки со сметаной, десятков вареных яиц, первые огурчики, если по сезону, а то и вместо шматка надоевшего сала половинка отваренной курочки. «Вот, — думал Максим, — в одной деревне жили, одну травку на вечерках мяли, от одних дождей под утлые крышки сараев прятались, а одни сошлись, как так и надо, а иные ненавидят друг дружку, только все равно живут. Сам он, как говаривал, «для семейной жизни не годен», на фронт никто не провожал, кроме матери, ни одна бабочка по нему слезинки не проронила, потому что к тридцати своим годам, к явлению повестки военкоматовской, вновь Макся оказался холостым, хотя признавался, что «не три ли раза его отец под венец водил». Отвоевался, когда осколком снаряда оторвало ступню, потом из-за гангрены пилили ножонку еще дважды, Макся все шутил, что так могут и до причинного места добраться, но обошлось, перед коленком перехватили дурную кровь. На диво всей деревне не самый бракованный мужик женился на вдове с двумя ребятишками. Мать ругалась, а он свое: «Уйду к ней, тянет». — «Ну, и протянете ноги всей семьей, ты калека, она малая ростом и телом слаба. Кто робить будет?» Но Максим с Марией еще одного мальчонку прижили, вот он сейчас в этой компании и попрекал Веньку, что тот верх всегда силой берет. «А чем надо?» — нагло спрашивал Венька. «Умом», — сам, не зная, почему, резко отвечал Костя. Он был низкого роста и сильно худой, можно подумать, что больной. Нет, в беге или когда «попа гоняли» не уступал многим, плавать не умел, потому что пяти лет по недосмотру сводных братьев чуть не утонул, с тех пор воды боялся. Белобрысый, веснушчатый, с высоким лбом и чуть оттопыренными ушами, впечатлительный и обидчивый.

У Володьки Бороздина отца не было вовсе, нет, в самом-то начале он, конечно, был, а потом исчез. Володька его не помнит, а у матери ни единой фотокарточки нет и не было, кто в те годы в деревне портреты делал? Никто не знал, на кого похож парень. Крепкий, сильный, злой. На лице шрам во всю щеку, но это не по драке, это он сонный упал с полатей и зацепился за гвоздь. Тогда все говорили: хорошо, что не глазом. Володька единственный из друзей, у кого есть отчим. Володька зовет его отцом, только не любит, и тот Володьку не любит, однажды при Косте назвал недосыном. Костя спросил друга, кто это такой — недосын, а Володька с обиды ударил его под дых. Вообще под дыхалку просто так бить не разрешалось, потому что после этого долго в себя приходят, а тут сорвалось. Костя долго стоял, согнувшись. Вовка ждал, потом хлопнул по плечу. Извиняться никто не умел. Отчим с матерью родили еще троих ребятишек, младшую сестренку к пяти годам увезли в интернат для слепых, и больше дома ее никто не видел.

Вовка здорово играл в бабки. Дядя Семен, родной брат его отца, был колхозным кузнецом, он такую плитку племяшу изладил — всем на зависть. Вырезал из толстого железа прямоугольник, посерединке дырку пробил, острые грани сточил и зубилом по горячему словно вышил слово матерное из трех букв. Володька носил плитку на веревочке, которую перед игрой снимал и прятал в карман и по подсказке отчима брал с игроков по одной бабке за кон. Проигравшиеся убегали домой, чтобы выреветь у матери гривенник и купить у Вовки десять бабок — по копейке за штуку... Володька был отчаянной всех, потому что никто не мог сделать круг на все еще вращающихся крыльях брошенной ветряной мельницы, а он мог. Когда крыло вставало прямо перед ним, он запрыгивал повыше, цеплялся руками и ногами и медленно плыл в высоту. Момент невозврата наступал, когда следующее крыло оказывалось между ним и землей. Володька вставал вниз головой, и вся ребятня замирала. Так же медленно крыло вставало в нижнее положение, Вовка спрыгивал и, презрительно осмотрев публику, ложился на траву отдохнуть. Все благоговеино стояли рядом.

За нелюбовь и нечастые подзатыльники Вовка мстил. Отчим с весны до осени по двору управлялся в литых лавковых калошах. Калоши те стояли на крыльце под жиденьким навесом. Первый раз, промочив носки, отчим пинал кошку, потом ругал бабу, что неловко несла воду в ведрах и сплеснула из ведра, наконец, очередь дошла до кровли навеса. Почерневший шиферный лист хозяин заменил свежим и пропустил по карнизу две тесины. Когда он снова с матерками пришел в избу снимать мокрые носки, жена принюхалась: «Проня, святая икона, от тебя все время мочой пахнет. Ты случайно в калоши не попадаешь?» Володькины проказы отчим изболел и хотел побить, но мать спрятала сына за спину: «Только тронь!» — «И трону». — «Нет, не тронешь. Проня, я тебе за сироту горло ночью перережу». Проня поверил, но Вовке стало еще хуже. А тут еще он упал с березы. По весне ребятня уходила в лес на весь день. Из дома брали по краюхе хлеба и спичечный коробок соли. На всех было одно ведро-«подойничек», маленькое и легкое, прокопченное, кажется, насквозь. В лесу питались. Летом дома есть нечего, кроме молока, что в кринке оставит мать в погребке от утреннего удоя, все остальное на молоканку, в зачет каких-то поставок. А в лесу уже можно было нарыть саранок, вкусных и сытных луковиц, сломить молодую пучку, а всего ценнее — найти колонии гнездовиц сорок и ворон. Тут все лезли на деревья, проверяли гнезда, небольшие яички складывали в рот и спускались. Кто-то уже нашел старый обвалившийся и заросший смородиной одиночный колодец, ведро с водой стояло наготове, а куча сухого валежника обе-

щала быстрый обед. Общими силами вдавливали во влажную землю две рогатки, поперек клали обломанную сырую осинку, на нее вешали ведро. Прикидывали, чтобы вода только чуть скрывала яйца. А сбор продолжался, птицы грозно кричали, пикировали на грабителей. Все терпели разбойники, потому что даже закричать нельзя: полный рот добычи. Да, бывало, что сваренное яйцо было запарено, в ином и птенчик просматривался, но все остальное съедалось вместе со скорлупой. В этот раз Володька сплеховал, сучок под ним обломился, и он полетел вниз, крича во все горло и выплевывая раздавленные яйца. О нижний крепкий сучок Вовка ударился боком, неловко крутнулся вокруг него и свалился без сознания. На него плескали воду, дули в лицо, потом сняли рубаху и испугались большого синяка на боку. Когда друг зашевелился, его приподняли, он не мог говорить, только высунул кончик едва не до совсем откушенного языка. Шла посевная, кто-то побежал на дорогу и вернулся с машиной. Шофер, сродный дядя Володьки, накидал всем по загравкам, пнул ведро с яйцами, посадил парня в кабину, всем велел прыгать в кузов и сидеть тихо, как мыши. Володьку увезли в больницу, но ничего страшного не нашли, через неделю отпустили. Володька был героем.

Славка считался у ребят самым счастливым. Он всегда был чисто и аккуратно одет, но команды не гнушался. Широколицый, глаза большие и серые, лохматые, как у взрослого, брови. Славка один из всех нравился взрослым девчонкам, они ловили его и целовали, пока он не вырывался, вытираясь чистым платком и тихонько матерясь. Во-первых, его родители работали учителями, Вера Семеновна учила младшие классы и к друзьям никакого отношения не имела, зато Василий Матвеевич, фронтовик, раненый в лицо, отчего из-за разбитой челюсти речь его была резкой и жестковатой, всем своим видом нагонял страх. На уроках физкультуры учил ходить строевым шагом, делать комплекс упражнений, учил лазать по шесту и по канату. Зимой, поскольку лыж на всех не хватало, гоняли по площадке футбол. А потом были уроки труда, где надо было правильно держать ножовку, рубанок, топор. За каждый промах Василий Матвеевич строго выговаривал и гнал от верстака. Однако все они только со временем поняли уроки учителя, когда с одного удара вбивали гвоздь, ловко строга-ли полки для первого своего угла. Со Славкой дружили, но домой к нему отваживался ходить не каждый. Славка иногда брал ключи от лодки, прикованной на плесе, звал с собой Костю, и они выезжали блеснить или гонять блеску. Славка подплывал под самый берег Малого омута, бесшумно укладывал на дно лодки весло и начинал по правому борту запускать блеску, разматывая с катушки толстую леску. Косте доставался левый борт. Славка закладывал леску за ухо, чтобы слышать блеску, а Костя держал в руках, чуть поднимая над водой, меняя глубину. Щука хватала блеску жадно, как живого чебачка, леска дергалась, и тогда счастливчик ловко выбирал леску, подводя добычу к лодке. Чаще всего попадались небольшие щуротайки, их звали «локотушки», но случались и серьезные щуки, выводить которых было непросто. Если щука срывалась и уходила, Славка ругался матом и показывал на раскинутых руках, какая рыбина ушла. Костя срывы переносил спокойно, все равно за вечер достанет три-четыре штуки, принесет домой, и новая мать, пятая по счету после смерти мамы, похвалит, рыбу почистит, подсолит и поставит в погреб — для всякого случая. Славка был единственным из всех ребятишек деревни, кому вырезали аппендикс. Летом пошли поиграть в Лебкасный лог, полазить по карьерам, в которых в войну и после еще несколько лет люди копали левкас,

скачивали его в небольшие головы и продавали в городе на рынке. Левкас — не прижился, проще было звать лебкасом. Наигрались, пошли к старице искупаться и на взгорке наткнулись на солодку — невзрачная трава, но корень у нее сладкий. Полакомились, а Славка, видно, то ли проглотил часть корня, то ли грязь попала — вечером заорал от боли в животе. Отец завел мотоцикл М-72, усадили Славку в коляску, Мария Семеновна села на заднее сиденье и поехали в участковую больницу, что в десяти километрах от деревни. Славка потом рассказывал, что утром хирург, который его резал, принес на блюдечке его аппендикс и поставил на тумбочку. Был он похож на крючковатого жирного червяка. Славка уверял, что только отвернулся, глянущу — а блюде пустое. Позвал медсестру, всей больницей искали и не нашли. Ребятишки верили. Мария Семеновна, когда узнала, строго-настрого запретила Славке врать. Он, если честно, то и почти не врал — совсем, так, реденько...

Деревни в Сибири — как люди, вроде и похожи друг на дружку, а приглядишься — далеко не родня. Есть такие, что вдоль озера одной улочкой выстроены, а в соседней все дома в куче, только переулки и разделяют. Наша на отличку ото всех, две улицы повдоль, две поперек, только у малой речушки Сухарюшки с одной стороны дома поставлены, а на береговом склоне бани прилепили. Это в Зареке, где первые поселенцы облюбовали. Сказывали старики, что из Смоленской губернии переезжали всем селом, не только скарб — церковь деревянную разобрали и на новое место перевезли, сложили и вновь освятили. А потом пригнали казаков с какого-то восстания, семьями, да большими, землю им отвели по их выбору. Казаки в основном оказались народом вполне приличным, помогали храм строить и ходили потом молиться. О судьбе своей не шибко делились, но случалось, на ночной рыбалке Илья Казаков (их всех такой фамилией называли) после вечерней ухи и бокальчика самогонки рассказал, что в их станицу прибегали гонцы от Емельки, но народ не хотел ввязываться, да и какая нужда: у каждого хозяйство, земля, дом. Еще думалось: и супротив царя как? На круге решили старики: ни одного казака в разбойные банды не пуцать. А когда сам Емелька пришел, выслушал старшинское решение, стариков велел пороть на площади, чего в века не бывало, а всех казаков от шестнадцати до пятидесяти лет с конем и оружием — в строй. Правда, скоро и баталии с войсками начались, наскочила на нас конница, а мы покидали оружие и сдались. Суд был неверный, не учли нашу невольность, а погнали в Сибирь. «Одно хорошо, — сказал Илья, — что места тут золотые и народ славный. А там — видно будет».

Случился в Петровке большой пожар, тогда чуть не полдеревни выгорело, ладно, что догадался Паша Менделев, огонь еще в сотне метров, а он велел свой дом разобрать. Верно говорят, что ломать — не строить, в минуту крышу скинули и бревна выкатили на середину улицы. Вот тут огонь и захлебнулся. Тогда и церковь сгорела. Кто видел, клялись, что горела она, как свеча, такой же язык пламени, только огромный. А потом три столба огня ушли в небо, потому что было в церкви три престола, они с огнем всю святость унесли в небеса. Сразу народ послал ходатаев в Тобольск ко владыке, но тот денег на храм не дал и не обещал, а проект, мастерами нарисованный, благословил. Вернулись ходоки, глаза в пол: нет ничего и не будет. И тогда восстал народ: «Отчего не будет, ежели мы того желаем?» Собирают сход и решают, с какого дома сколько серебром ли, ассигнациями или зерном, или мясом должно быть внесено. И казначея избрали, и ящик сковали в кузне под два замка: один у казначея, другой у старосты.

И прорезали ствол узкую щель, что туда ты монету либо бумажную денжку запросуешь, а обратно ей уж нет ходу, сколько ящик ни тряси. Да и трясти его было невозможно, приковали в волости к полу надежно. Десять лет собирали по крохам, а когда вскрыли ящик, оказалось довольно, чтобы артель подходящую искать. Сыскали в уездном городе Шадринске, мастера проект посмотрели, потом велели показать, где может глина залегать, для кирпича пригодная. Все кругом изрыли, а нашли под берегом Сухарюшки, рядышком. Так мяли мастера, и этак — сошлись, что весьма годна для делания кирпичей. Стали формы ладить да глину месить, всей деревней сходились. Потом сарай рядами выставили, наделали полки, сырые кирпичи выкладывали и каждый день переворачивали, сушили. Дальше артельщики из этой же глины сбили большую, как пещера, печь, народ носил кирпичи, а мастер командовал, как укладывать. Потом разожгли большой огонь, вход в пещеру замуровали, только снизу оставили пустоту для тяги воздуха. Густой влажный дым выходил в задней части печи, мастера ни на минуту не отлучались, то тягу уменьшат, то дымоход приоткроют. Все лето работали. Отверзнут артельщики врата в печь, народом начинают выносить обожженный кирпич в отдельные сараи. Потом мастера стали искать место для церкви, всю деревню с тихим молебном обошли, остановились на взгорке, где по утрам коров собирают в табун. Сделали замеры, вбили колышки, велели священника везти, чтобы освятить место и водружальный крест поставить. Три лета артельщики выводили стены, башенки и купола, потом кресты нарисовали и велели кузнецам браться за дело. Купец Афанасьев нужного железа привез. Чудные вышли кресты, легкие, как воздушные. На водружение опять батюшку привезли, самые отчаянные мужики, благословясь, поднялись по веревкам на алтарь, укрепили крест, потом на колокольню, и крест тяжелый, но с божьей помощью укрепили и его. Большой молебен отслужили. А по зиме на крепких санях, запряженных четверкой тяжеловозов, аж из города Каменска привезли колокола, один большой, поди, на сто пудов, да набор вплоть до маленького, в четверть пуда. Опять служба, опять охотники лезут наверх и по указке мастеров крепят колокола на мощных дубовых бревнах-матицах, вложенных в стены. На освящение прибыл сам владыка, народ собрался весь, от стариков до младенцев, тут же крестили и исповедовали. А батюшка, назначенный на приход, перед народом на колени встал и благодарил за храм, и нарекли его при освящении в честь Рождества Христова.

Великий разум и могучая сила создавали эти места. Вот только что ни спроси — все есть. Озеро прежде всего, на берегу которого в давние времена, еще до переселенцев, в землянке жил старец Афоня. Кидал с берега утлый невод, доставал несколько рыб и тем жил. Говорить уже не мог, либо не хотел. Умер тихонько, и стали мужики место для кладбища искать. Выбрали под Горой высокий песчаный бугор, там и упокоился раб божий Афоня, а чтобы долго имя новой деревни не искать, сказали «Афонино», и всем поглянулось. Сколько глаз видит, вьется Гора из казахских степей и далее в холодные северные края, местами крутая, а потом опять спокойный склон. Изрезана оврагами и логами, как шрамами по телу отчаянного ратника. Сразу на Горе березки да осинки, заросли смородины, малины и ежевики, а еще костянка, голубянка. В июле попрут грибы, неведомые, но бабы быстро разобрались, что самый добрый после белого — груздь настоящий, очень хорош вымоченный и засоленный — аромат, вид благородный и похрумкивает. В трех верстах в глубине мелколесья вдруг возникает

широкая лента сосны, кедра и лиственницы. Так лентой и стелется вдоль Горы. Обошли мужики после первой посевной окружные земли и подивились: столько воды, не то озеро, не то старица. Старицы переходили одна в другую, и имена получили разные: Мочище, Малый омут, Афонино, Большой омут, Прорва. Это — с одной стороны. А с другой — так намешано, что и не разобрать. Вот Арканово, ну, точно озеро, но вытянутое, все равно река. А дальше Диконькое, Слепое, Утиное, Поперечное, Ванькино, Калачик. А кроме того — с полсотни малых озерин, которым и названия не стали давать. Все это было в давние времена, Костя записал от стариков, кто что помнил. А потом приехали ученые, три недели жили в палатках и изучали местность. Ученые — это для ребят, на самом деле студенты-землеустроители, изучали их старицы, изрезавшие всю подгорную часть деревни. Старицы эти сильно интересовали Костю, вечером он подъехал к палаткам на велосипеде, отец купил после смерти матери, хоть чем-то отвлечь парня. Студенты варили картошку, очищенная селедка и лук уже томились на сколоченном из досок столе.

— Проходи, молодой человек! — радушно пригласил кашеваривший паренек в трусах и майке. — Что скажешь?

Костя знал, что надо сказать:

— Все названия у нас для озер, а по форме почти все речки. И откуда питаются? Неужели везде родники бьют? И почему их только у нас так много, в других местах, мужики сказывают, настоящие озера, круглые, по километру и боле?

Парень засмеялся:

— Ты вопросов задал на целый вечер разговора. Леня, иди, посмотри за картошкой, а я удовлетворю любопытство будущего исследователя. Ты знаешь, что рядом протекает река Ишим, узкая, мелкая, но — река. Так вот, мы склонны считать, что ваша Гора есть берег древнего Ишима, потом произошли какие-то изменения, Ишим сузился и принял нынешний вид. А в тех местах, где испокон веков били родники, образовались озера и старицы. Форма их могла зависеть от плотности грунта и интенсивности родников. В целом понятно?

Костя кивнул:

— А где второй берег древнего Ишима?

Студент развел руками:

— Нету. Ни на одной карте нет ничего похожего. Скорее всего, берег был пологим и скоро сравнялся с окружающей местностью... Картошку с нами будешь есть?

Косте было неловко садиться за чужой стол, но за время после смерти мамы и длительных гуляний отца он научился отличать, когда приглашают от души, а когда ради приличия. Вот несколько раз приходили к Славке, Мария Семеновна заставляла мыть руки и садиться за стол. Славка упирался: он только что ел. Мария Семеновна сурово на него смотрела, и Славка послушно хлюпал умывальником. Такого супа Костя никогда не ел, такой хлеб никогда не мог испечь отец. А потом появлялась тарелка с картошкой и котлетой. Сверху полито чем-то белым, но не сметаной. Вот и здесь он увидел доброту, она не заметна сытым и счастливым, но обиженные жизнью улавливают ее проявления сразу. Костя степенно брал круглую картошку и макал в подсолнечное масло, полученное студентами на колхозном складе. Он знал, что это то самое масло, для которого они всей школой осенью выколачивали зерна из шляпок подсолнухов, потом семечки сушили, веяли на ветру и везли в Краснаярку на давяльню. Оттуда привозили масло во фла-

гах, отец тоже получал с полведерка на трудодни. Раздавленные семечки лежали на самом дне. Съел две картофелины, сказал «спасибо», поднял свой велосипед. Тот студент, который ему объяснял, подошел, подал руку:

— Ты приезжай, мы тут еще с неделю поработаем — и в город. Ты в каком классе?

— В шестой пойду.

— Учишься хорошо?

— Ударник.

— А книжки любишь читать?

— Шибко люблю, только у нас библиотеки нет, сторела, а в школе совсем маленькая, я все книжки перечитал.

Студент удивился:

— Во как! Назови свои имя и фамилию, мы тебе пришлем книги. Обязательно. Приезжай, пока мы здесь.

«Хорошие люди, — ехал и думал Костя. — Городские, а по-простому разговаривают».

Деревня гудела. Ранним утром бабы коров в табун сгоняют — об этом речи и тревоги. Мужики на наряд собираются — вместо анекдотов о том же разговор. Председатель колхоза, из которого всю душу вымотали эти вопросы, взвыл и резко послал всех. Прошел слух, что в районе принято решение с церкви снять купол. Что касается колоколов и крестов, то их сорвали еще в тридцатые годы, на правом крыльце до сих пор видна глубокая вмятина от большого колокола, который при ударе развалился пополам. Колокольня, надстроенная над сводами, была пуста, и мальчишки лет двенадцати проходили испытание: надо по лестнице добраться до бревна, на котором крепились колокола, и пройти по бревну от стенки до стенки. Высота больше пяти метров, бревно в длину восемь широких шагов, специально замерили, внизу кирпичное перекрытие церковного свода, каждый понимал, что упал — убится. Но это испытание проходили все. Костю после смерти матери освободили, Толя Синий, парень пятнадцати лет, не учился, и в колхоз не брали на работу — вот он и руководил всей деревенской оравой, он и сказал, что Писаря (Костю звали Писарем, он умел сочинять стишки) нельзя допускать на колокольню. Костя вместе с другими поднимался наверх и наблюдал с завистью, как наиболее отчаянные пробегали по матице бегом и даже ловко расходились при встрече.

Наконец, слухи в один день стали правдой. В сельсовете обсуждали, как проще сорвать купол. История повторилась, деды вздымали церковь, зачав кладку основы в глубокой трехметровой яме, а потом за великую честь считалось, если тебе удалось попасть в артель для установки крестов и подъема колоколов. Специальный молебен за этих людей служили, чтобы все у них обошлось и благополучно дело свершилось. А теперь внуки советовались, как эту красоту разрушить. Ни у одного в душе не дрогнуло. Но шел мимо лесник соседней деревни, Ваня Однорукий, а еще Березка. Однорукий потому, что правую руку минным осколком, как бритвой, срезало, вместе с гимнастеркой. Сказывают, Ваня-то за ней поначалу кинулся, а потом уж сознание отлетело. Стал он верующим, на дальнем кордоне часовенку маленькую срубил, картинка! Кто-то по привычке стукнул куда надо, приехали начальники, полюбовались, ни слова не сказали. Всякий раз, проходя мимо церкви, он останавливался и долго молился, крестясь левой рукой. И в этот раз он понял, что сотворят со святой красотой эти люди, чуть в створке встал на колени и склонил седую голову.

— Отмолился Береза, снесем купол, чтоб вид не создавал, и устроим в твоей церкви пекарню, — захохотал Митя Рожень.

— Ошибаешься, добрый человек, церковь не моя и не твоя, и не их всех — она Господу Богу принадлежит, сиречь она и есть его дом на земле.

— Да хоть и дом. На небе он у вас живет, а дома́ на земле? Снесем, Однорукий, — злился Рожень. — Ровное место будет. Как будешь молиться? В лесу колесу?

— Опять ошибаешься, добрая твоя душа. Месту будем молиться, святому, великую силу имеющему. Гляжу на тебя — не ты ли первым падешь ниц и станешь землю грызть и просить Бога убить тебя по грехам твоим?

— Иди, иди, пока я тебя не проводил. Ишь, развел опиум! Землю я буду грызть! Хрен тебе, Однорукий, коммунисты ни перед кем в ногах не валялись, тем больше — перед богом.

Бабы зашумели на Митю, Иван Березка поднялся с колен, и, не отрясая пыли со штанов, пошел своей дорогой, вытирая слезы пустым рукавом рубахи.

Главный колхозный инженер предложил поднять на колокольню мощные тросы, которыми трактора таскают солому, продернуть из окна в окно и обвязать один угол. Весь купол и держится на этих четырех углах. Нашлись и охотники, назвали цену, начальство посоветалось и решило уплатить. На другой день Митя Рожень, Гриша Крутенький и Вася Машкин сын залезли на колокольню, на ременные вожжах притянули тяжелые тросы. Трос пропустили через вpletенное на заводе кольцо и конец подали вниз. Тут уже стоял трактор С-80, тоже с тросом, который крючками сцепили с верхним. Мужики на всякий случай спустились с колокольни. Надо тянуть, а Ганя Паленский вдруг из трактора вышел и отказался ломать церковь, сославшись на мать, которая заявила, чтобы после этого греха он дома не показывался. Колхозный председатель ткнул локтем Анатолия Брызгина: «Ты — бригадир, ты и решаешь!» Анатолий сам сел за рычаги, трос стал медленно натягиваться, все напряглись, рев машины нарастал, тросы гудели, колокольня вроде чуть даже приподнялась. Толпа народа собралась вокруг, старухи крестились, старики курили молча. Все — продавцы и покупатели сельповского магазина, животноводы, свободные от управы, механизаторы с ремонта в мастерских, школьники, побросавшие уроки, и увещевающие их учителя — все в незнакомо ужасе ждали чего-то страшного. Но в это время гусеницы трактора буксанули, и он стал медленно зарываться в землю. Анатолий сбросил обороты и выскочил из кабины. Все были ошарашены. На стене только штукатурка потрескалась. После обеда перевязали трос на другой угол, пробовали не в натяг, а рывком — ничего не получилось. Председатель колхоза велел поставить трактор на место и прибрать тросы.

— Григорий Андреич, и что же делать? — чуть не заплакал председатель сельсовета. — Мне в районе дали всего три дня.

— Вот видишь, время у тебя еще есть. Нанимай мужиков, пусть долбят. — Чем!? — изумился председатель.

Андреев улыбнулся:

— Не было бы баб вокруг, я бы подсказал. А так — придется лома брать и пешни.

Народ рассосался, все вокруг церкви опустело, и она стала еще более одинокой, чем была прежде. Костя стоял у магазина, прижавшись спиной к прохладной стене, и глядел на самый верх церкви, где когда-то был главный крест. Он видел фотокарточки: снимали свадьбу или митинг на могиле жертв кулацко-эсеровского мятежа еще до войны, и кресты, и колокола было хорошо видно. Сейчас он, прищурившись, пытался представить крест, золоче-

ный, восьмиконечный, но черная, давно некрашенная железная кровля не позволяла «вырастить» на ней величавый крест. Тогда Костя стал представлять белый, серебряный купол, а потом золотой крест, и у него получилось, серебряный купол на фоне голубого неба принял крест, и они вместе поплыли ввысь, медленно, и Костя глядел, не сморгнув, на это чудо, пока слезы застили глаза, и видение исчезло. Но он по-иному смотрел теперь на бывший еще утром сиротливый купол, хлопающий листьями оторванного ветрами железа, на потрескавшуюся штукатурку церкви, они перестали быть чужими и беззащитными, церковь стояла теперь как православный воин после изнурительной битвы, израненный, с пробитым шлемом, одеждой, порванной мечами чужеземцев, почти истекающий кровью, но непобежденный. Костя вытер слезы и увидел рядом однорукого Ивана Березку.

— Ты плачешь, дитя мое? Господи, благослови сие мгновение! Ты видел, как серебряный купол с золоченым крестом уходил в небо? Радуйся! И Господу нашему великая радость. Благодать снизошла на тебя, сын мой, сохрани ее, и она проведет тебя по жизни прямо к ногам Бога нашего. Беги с миром!

Володьку мать встретила в воротах, вечером на Голой Гриве была большая игра в бабки, пришли ребята из Казаков, бабок принесли по два кармана. Долго бились, зареченские все продулись, как шведы, а у казачат бабок немеряно, скота чуть не табунами держат. Только тайно все, в дальних лесах загоны поставили, днем пасут, к ночи загоняют и охраняют, не столько от зверя, сколько от чужого человека. Ребятишки тоже натыкались на загоны, только не было никого из казаков, все скот пасли. Бежали оттуда без оглядки. В прошлом годе терялся колхозный пастух Чиликов, неделю не было, а потом обнаружился дома, сказал, что вино пил, потому на работу не ходил. А кто ему поверит, если Чилик по болезни желудка вино на дух не принимал! Потом слушок прошел, что наскочил он случайно на загоны казацкие, словили сторожа и держали, пока на иконе Пресвятой Богородицы не поклялся, что не выдаст. Вот и сразились, у Володьки глаз острый, плитка к руке льнет, своя, родная, а казачата все мимо да мимо. Правда, без драки обошлось, казачата задиристые, а тут — куда попрешь в чужом краю, да и зареченских больше. Володька ни одной бабки, ни единой люшки не упустил, все собрал в мешок и домой.

— Ты смотрел, как над храмом изгалялись? Смотрел? Зачем тебя туда понесло?

Вовка заартачился:

— Один я разве, все ребятишки там были.

— Пусть! — разгоралась мать. — У нас и так ребенок Богом обижен, и сами не знаем, за что, а ты еще беду накликаешь! Чтoб больше ни шагу!

Отчим закрепил наказ добрым подзатыльником...

Максим складывал на сарай только что скошенную зеленую траву. Так он за лето хороший стожок сгношит за пригоном.

— Чо, Костя, не изломали церкву? Не по зубам? Говоришь, и трактором не могли взять? Костя, завтра опять иди, картошку вечером окучим, гляди, кто что делать будет и запоминай. Ты грамотной, опиши все для людей. Как можно руку поднять на храм?

Костя чуть не засмеялся:

— Папка, ты же неверующий?

— Кто тебе сказанул? Запомни, сынок, кто на войне был и смерть своими глазами видел, тот сразу делается верующим.

Костя насторожился:

— А ты разве смерть видел?

Максим воткнул вилы в кучу травы и закурил:

— Вот как тебя сейчас.

— Врешь! — невольно выдохнул Костя.

— Два раза. — Отец не обратил внимания на грубое «врешь!» сына. —

Первый раз — когда наркоз дали, в госпитале ногу пилили. Я вроде память теряю, а она заглядывает мне в глаза и шепчет: «Мой, мой, мой...» Я испугаться не успел, уснул. На другой день хирургу рассказываю, а он смеется: «Смерть — это пустяки. У нас один на прошлой неделе самого Гитлера видел и даже поймал его, но уснул... Бывает». А второй раз, когда мать умирала. Я у кровати сидел, видел, что последние часы она все в памяти была, потом махнула мне ладонкой, уходи, мол. Я встал, а она над матерью стоит, та же самая, глянула на меня, улыбнулась, как старому другу, а матери шепчет: «Пора, Мария, своей болью ты заслужила, что на небеса сразу пойдешь». Я к матери, а она уж и не дышит.

Костя пришел в себя, спросил:

— Папка, а как верующим стать?

Максим засмеялся:

— Не знаю. Можя, тебе лучше и не быть, это все через горе и болезни приходит. Ну, знамо дело, от книжек священных, да где их взять? А завтра чего они собирались делать?

— Сказали, долбить будут.

— Иди и запоминай, после напишешь в тетрадку.

Венька ткнулся в калитку, увидел Максима, остановился:

— Проходи, меня, что ли, испугался? — засмеялся отец.

У Веньки синяк под глазом. Костя привычно спросил:

— Откуда?

— Мать врезала. А отца сковородником в воротах встретила и полчас по огороду гоняла. Он ей кричит: «Дура, всю картошку вытопчем». А она свое: «Чтобы близко к церкви не подходил! Мало тебе немец оторвал, надо было все под самый корень! Совсем хошь нас погубить!» Дядя Максим, я седни у вас ночую, ладно?»

Максим подал ему вилы и сказал, чтобы всю траву ровненько по крыше разложили.

Славка еще в ограде услышал, что под сараем гости. Тихонько прошел, но отец увидел:

— Назови мужиков, кто под куполом лазил.

Славка назвал. И добавил, что завтра они же будут долбить стены ломами.

— Господи! — Мария Семеновна всплеснула руками. — Так ведь купол-то на них может упасть!

— Думаю, у них хватит ума убрать простенки, а несущие углы оставить, — подал голос Паша Менделев. — Хотя надо бы подсказать, а то рухнет купол и ...

Василий Матвеевич согласно кивнул и предложил Паше сходить завтра на обсуждение и разъяснить.

— Не пойду, — огрызнулся тот. — Пусть майор идет, он партийный. А я на войне сына потерял.

Майор Попов поморщился:

— Народишко там гнилой, и придавит, так не велика потеря. Но упредить надо. Опять же и церковь жалко. Я, когда в сельсовете работал,

целую папку документов собрал, как ее строили, как на кладбище ходили всем миром канаву рыть, чтобы скот не бродил, потом сосенки привезли, каждый из дому кустики принес. А теперь смотри, какое у нас кладбище, все в округе завидуют.

— И заметь, — перебил Менделев, — завидуют, а ведь никто не сделал. Потому что надо полвека ждать результата. А мы сейчас каждую весну тополя садим, если бы все приросли — в лесу бы жили. Ладно, хоть коровы да овцы все объедают.

Ночью случилась гроза, какие часто бывают в июле, с низкими тучами и железного звука громом. Нынешнюю грозу всей деревней считали за предзнаменование, но утром у сельсовета собралась большая толпа. В артель набирал Митя Рожень. В договор с сельсоветом включили Гришу Крутенького, Васю Машкина сына, Макара-Чудака и Осташку Пимоката. Двое поднялись вперед, приняли на вожжах лома и пешни, кувалды и ведро с железными клиньями. Когда начали долбить, запоздалый гром так резко ударил в наступившей тишине, что Осташка кинул кувалду и стал спускаться на землю. Жена подбежала и прилюдно обняла:

— Спасибо тебе, Осташенька, у меня сердце на место встало. А эти — как хотят. Гром слышал — ну, не просто же так!

— Очень даже просто, — сказал школьный физик. — Остались от ночной грозы заряды, вот и собрались в кучку, отсюда разрыв.

— «В кучку, в кучку», — передразнил дед Поликарп. — Кучки только за пригоном бывают, у кого тавалета приличного нет. Гром — это вон тем придуркам предупреждение. Ладно, иди, кого с тебя возьмешь?

Три дня долбили стены, оставляя по столбу на всех углах. Получалось, если сейчас дернуть за один угол, то потерявший опору купол рухнет на свод молельного зала и может проломить его. Стали думать. Выход подсказал майор Попов:

— Надо расширить на куполе отверстие, где стоял крест, а потом через него пропустить трос. Тогда резким рывком можно сдернуть купол вниз.

Провозились еще день. Постепенно интерес у народа пропал, только кучка старушек не покидала своего поста в стороне, у самого магазина. Когда все тросы были готовы, пригнали трактор, прицепили, выровняли, тракторист, вызванный из соседнего колхоза, сдал назад, включил передачу, резко добавил оборотов и отпустил муфту. Трактор зверем рванулся с места, подняв нос, потом его дернуло, натянутые тросы сработали, купол сорвался с места и, упав на южное крыльцо, развалился на куски.

Первым пострадал Вася Машкин сын. От предвкушения расчета и близкой выпивки он стал быстро спускаться, оступился и упал с лестницы. Орал нещадно. Привезли фельдшера, она распоролла штанину и велела принести два обрезка тесинок. Нашли и принесли, ногу обвязали, чтоб не тряслась, и в кузове грузовика отправили в участковую больницу. Старуха Раздорчиха, подозреваемая в потомственном колдовстве, подошла и громко сказала:

— Это вам первый. Видит Бог, дальше хуже будет.

Ее прогнали, но холодок пробежал по спинам оставшихся артельщиков. Как-то понуро получили расчет, набрали водки и пошли к Макару. Пили до рассвета, потом уснули кто где. Утром хватили Гришу Крутенького, а он уж холодный. Приехала милиция, врачи, Гриша почернел, как негр, сказали, что сердце остановилось.

Макар и Митя Рожень протрезвели, пошли под сарай, опохмелились.

— Митя, это все дело случая. Васька сорвался — куда было спешить? А Гришке давно врачи сказали про водку, что ни грамма. А мы вчера, —

он чинил взглядом поле боя, — по литре приняли. Тут и без церквы можно крикнуть.

— Не поминай мне про церкву! Господи, черт меня дернул ухватить-ся за эти сто рублей! Все, я пошел.

Многие видели, как Митя Рожень подошел к развалинам, встал на колени, плакал и целовал рваные обломки купола. Кто-то напомнил проклятье Ивана Однорукого — сбылось. Никто не беспокоил Митю, пока не пришла жена и не увела его домой. Митя перестал пить и пошел работать пастухом, сказал, что в лесу со скотиной ему тихо и спокойно.

Макар погиб осенью. На гусеничном тракторе таскал солому с горы. Под большой зарод соломы он задним ходом подпихивал иглы волокуши, потом обносил зарод тросом, чтоб не свалился, трос крепил на поперечный брус. Дорога шла по краю оврага. Октябрь, гололед. Десять лет таскал солому по этой дороге Макар, а тут зарод накатился, полозья вывернулись по льду из накатанной колеи, и воз стал сваливаться в овраг. Митя это заметил поздно, когда весом прицепа трактор дернуло, вырвало из накатанного углубления, и он медленно поехал боком по крутому склону, потом зацепился за что-то и перевернулся несколько раз, пока не упал на дно оврага.

НА ВОСХОДЕ СОЛНЦА

Нина с детства рано просыпалась, не валялась в постели, вставала и помогала маме. На дворе еще темно, мать тесто разделяет и на смазанный маслом жестяной лист укладывает булки, дочь картошку чистит для супа, потом по воду сбегает на колонку, в двух маленьких ведерках принесет, курицам бросит ковшик зерна и снега чистого зачерпнет, они им как бы запивают. Отец управляет скотину, вывозит на санках снег из ограды, все у него под метелочку. Нина уже в школу соберется, выйдет в ограду, светает, и солнышко из-за горы и из-за леса осторожно выглядывает, словно проверяет, все ли в порядке в Корнеевке, пока его не было. Убедится, наверное, и выкатится, взойдет. Нина все думала, почему так говорят: солнце взошло. Вон в истории написано, что царь взошел на престол, это понятно. А солнце почему восходит? Не выходит, не всходит, а восходит? Ну, и ладно, побежала в школу...

— Каурова, я тебе еще вчера сказал, чтобы сводила корову к быку. В охоте она, проморгаешь, и хрен тебе не молочко, а загубишь корову — припишу.

Нина Каурова, молодая девчонка, бросила школу, потому что отца убило деревом на лесоповале, сосну пилили в северных районах для колхоза, а мать техничка в конторе, Нина старшая, после нее еще трое. А жить надо... Доить научилась быстро, вымя подмыть, насухо вытереть, вручную потянуть за сиськи, чтобы «сдоить», а что — она так и не поняла, но делала. Потом аппарат подцепить, да чтобы не соскользнул, а то засосет в ведро жижу из канавы, придется все молоко под угол. Что корова в охоту пришла, ей соседка по базе, тетка Наталья подсказала:

— Веди, девка, к быку, скотники помогут.

— Стыдно мне, тетка Наталья. При мужиках...

— А без мужиков кто тебе корову держать будет? Гляди, Кожин узнает, матерков не оберешься.

Кожин, как слышал, сразу подошел, спросил, в чем дело.

— Не могу я, Устин Денисович, — закраснела доярка.

— Чего не можешь? Отвязала и повела, спроси у баб, где быки стоят.

— Не могу. Стыжусь, — покраснела до слез девчонка.

Кожин, здоровый мужик, вечный бригадир животноводства, удивился:

— Ты подумай: с парнями в кустах покурдаться — вам не стыдно, а корову сводить к быку, огулять — совесть не позволяет. Коровы с бычками на танцы не ходят, чтобы там снюхаться. Дуру-то не пори, а делом занимайся.

Нинка уже ревела всюю:

— Вы зачем такую напраслину про кусты? Где вы меня видели?

Кожин обмяк, похлопал девчонку по плечу:

— Да я ведь так сказал, в целом. Знаю, что девушка ты примерная.

Давай, я тебе помогу.

Он привычно протиснулся к привязи, отщелкнул цепочку и выпихнул корову на проход. Нина покорно шла сзади, не думая, что будет. В соседней базе оборудовано специальное место для случки, Кожин позвал мужиков, корову завел в клетку, крепко обмотнул и закрепил цепь. Привели быка, двое мужиков держали на вожжах, бык широко раздувал ноздри и всхрапывал. Нина спряталась за перегородкой и слышала только матерки скотников, возню и, наконец, жизнерадостный смех мужиков:

— Нинка, забирай свою барышню, только завтра еще приведешь, так ветврач велит.

Нина удивилась, что бригадир сам отвязал корову и повел в базу, она шла сзади, так гуськом и объявильсь в главном проходе. Когда все уладили, тетка Наталья дернула Нину за рукав:

— Гляди, девка, Устин Денисович неспроста с твоей коровой возился, вон, стоит, тужурку свою чистит.

Нина не поняла:

— А чего неспроста-то? Он бригадир, обязан помочь.

— Дура ты, девка. Кожин еще тот жук, останешься на ночное дежурство — жди в гости.

— Зачем? — не поняла Нина.

— О-о-о, да у тебя умок-то с дыркой, попкиват. Сколько тебе?

— Шестнадцать, — смело ответила Нина. Наталья кивнула:

— Он молоденьких любит, будет над тобой шефствовать, пока новая краля не появится.

Нина возмутилась:

— Ты что говоришь, тетка Наталья, я же ему в дочери гожусь.

Наталья шумно вздохнула:

— Вот он тебя и удочерит, раз заступиться некому.

Пока сдавали молоко, мыли доильные аппараты и чистили стойла, женщины пели. Нина не знала эту песню, проголосную, грустную, понятно, что про любовь.

«Зачем-зачем я повстречала тебя на жизненном пути...»

«Зачем ты в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой покой».

Нина подумала: «Будет у тетки Натальи выходной, сбегая к ней, перепису слова, а то стою, как безголосая».

Наталья сама подошла к ней:

— Пошли домой вместе, я боюсь, как бы он сгоряча тебя сегодня не подловил. Подъедет на своем Жулике, завалит в кошевку, и поминай, как звали.

Они вышли с фермы прямо на большак, освещенный фонарями, вошли в улицу, и точно, обогнал их Кожин, даже объехал чуток.

Дома все было в порядке, мама Мария Никандровна нажарила картошки с мясом, ребятня уплетала за обе щеки. Нина умылась, села с краю, взяла ложку.

— Нинка, а ну, марш с угла! Хоть, чтоб никто замуж не взял? Нехорошая это примета, не садись с уголка стола, поняла?

Дочь засмеялась и ушла на место отца в кутный угол.

— Тяжело, доча? Знаю, что тяжело, а зачем спрашиваю? Привыкай. Только, ради бога, не надсажайся, мешки с дробленкой сама не ворочай, спарись с кем из женщин, вдвоем-то легче управитесь. Мало молока-то?

Нина понимала, что мать интересуется надой не сам по себе, а потому что от него зависит зарплата, а от нее уже — купит она ребятишкам новые пимы или придется нести к немцу Якову Андреевичу, он всем подшивает и берет недорого.

Когда через неделю Нина принесла расчет, мать разложила бумажки на столе, несколько раз меняла их местами, что-то выгадывая, потом вздохнула: «Старшему куплю, а этим придется подшивать».

В самом начале войны в Корнеевку распределили несколько семей немцев Поволжья, сельсовет расселял их в дома-пятистенки, где хоть две комнаты, но приходилось принимать и в избушки одиноким женщинам, проводившим на фронт мужей и сыновей. Мария тогда еще школьницей была, отец и брат воюют, к ним и поселили семью Генриха Кауца с женой и тремя детьми, старшему Якову было восемнадцать. Генрих сразу сказал хозяйке Евдокии Марковне, что его с сыном заберут в трудовую армию, и просил помочь жене Фриде с ребятишками. Сказал, что он все понимает, трудно русским людям терпеть немцев, когда с немцами идет война и их мужья и дети там погибают. А этим тут помогать надо. Но поволжские немцы живут в России уже почти два века и считают ее своей Родиной. При царе немцы жили свободно, строили большие дома и заводили большие семьи, в каждом дворе полно скота, немецкое сало «шпик» с удовольствием покупали на ярмарках. При советской власти все изменилось. Рассказал о республике немцев Поволжья, где они тоже хотели устроить жизнь так, как веками складывалась она у их предков, но советская власть заставила создавать колхозы, весь урожай забирала по заготовкам, а народ голодал. Евдокия с ужасом слушала Генриха: люди пухли от голода, умирали, ели трупы животных, но власти ничего не делали для помощи населению. Стало известно, что «Красный Крест» Германии послал в страну несколько эшелонов с продовольствием, только поволжским немцам ничего не досталось. А когда началась эта проклятая война, власть возненавидела немцев, и НКВД приказал в течение суток подготовиться к эвакуации. Взяли с собой только то, что можно унести на руках.

Генриха и Якова вызвали в сельсовет и вместе с другими немцами увезли в район. Три года они работали на военном заводе в Челябинске, спасались только тем, что Генрих хорошо разбирался в технике и мог быстро отремонтировать любой станок. За это он получал дополнительный паек, которым в бараке делились с близкими. В одной аварии Генрих получил тяжкие увечья, а Яков отделался потерей ноги. Сын простился с еще живым отцом и поехал в Корнеевку к матери, братьям и сестре...

Мария собрала хорошо просушенные пимишки младших, завернула их в старый подшалонок и пошла к Якову Генриховичу, которого все звали Андреевичем — так проще. Собиралась и вспоминала, как пришел с производства израненный Яков, как она, семнадцатилетняя, старалась припасти ему кусок хлеба или шматок соленого сала. Яков быстро поправился, стал шить полушубки, меховые сапоги, хомуты для колхоза. Когда младшие были в школе, а матери на работе, она прибежала домой и сидела рядом с работаю-

щим Яковом, рассказывая деревенские новости, особенно про то, кто из девчонок дружит с немецкими парнями. Яков слушал ее молча, а когда она перехватила его руку и прижала к своему трепетному сердцу, осторожно убрал руку и сказал, что ее родственники никогда не позволят им пожениться, поэтому не надо дразнить сердце, вон сколько молодых парней, да война скоро закончится, вернутся холостяки. Мария помнила, как сказала тогда Якову, что пойдет на речку и утопится. Яков усмехнулся, назвал глупостью и велел больше один на один не оставаться.

— Я взрослый мужчина, ты молодая девушка, не надо положить мою руку на твою грудь, я могу не выдержать, и потом горе тебе и мне.

Маша тогда совсем стыд потеряла, обняла Якова, впиалась в его губы, он отбросил шитье, охватил ее руками, и — «пропади все пропадом!» Мария и сейчас помнила, что такая мысль мелькнула в голове, еще не совсем потерявшейся в незнакомых чувствах. Сложись на войне по-другому, может, и у Марии была бы другая жизнь. Когда почтальонка пришла к дому не одна, а с соседскими женщинами, уже вернувшимися с работы, мать ее Евдокия вышла во двор, вышла Фрида и вышел Яков, опираясь на костыли, Мария бросила доить корову и выскочила из пригона. Почтальонка со слезами подала Евдокии два конверта со штампами. Все село знало, что в этих конвертах, Евдокия приняла их и завалилась на бок. Ее поддержали, Маша разорвала один конверт: «Ваш муж и отец...». Разорвала второй: «Ваш сын и брат...» Евдокия очнулась, повела мутными глазами, остановила на Якове, потом на Фриде:

— Будьте вы прокляты, фашисты, и Германия ваша проклята! Вон из моего дома, видеть вас не могу... вон, иначе ночью зарежу сонных, вот вам крест святой, и бог меня простит.

Фрида убежала в дом, выскочила с узлом тряпья и посуды, Яков молча заскрипел костылями вдоль улицы, малые потянулись следом.

Мария и сама не знает, как это случилось, но она бросилась к матери: — Мама, не гони их, я люблю Якова, он муж мне!

Евдокия ударила ее по лицу, кровь брызнула, она села на завалинку и сказала тихим шепотом:

— И ты иди вместе с ними, и ты будешь проклята за смерть отца и брата.

С Евдокией отваживались соседки, семья Кауцев ночевала в клубе. Маша ушла к подружке Федоре, которая слышала ее слова об Якове, и сейчас смотрела на нее с жалостью:

— Ты что творишь-то, ты хоть в своем разуме! На всю деревню объявить, что живешь с немцем. Наши парни теперь тебя браковать станут.

— Ну и пусть. Яков любит меня и не бросит.

— Яков-то любит... — вздохнула подружка.

Она, наверно, больше понимала в отношениях местных и поселенцев, была чуть взрослее и видела все со стороны, ее понимание не мутилось от чувств и было верным. Пока идет война, ничего не изменится, только под страхом наказания властью бабы терпели чужих. Отношение начальства смягчалось тем, что работали немцы старательно, исполняли все, что прикажет бригадир, а парни толково понимали в технике, изладили большую кузницу, сами ремонтировали инвентарь и простенькие конные селяки, жатки-«лобогрейки», веялки на току.

С разрешения властей Яков оборудовал свою мастерскую в уголке клуба, молодые немцы после работы помогли ему. Маша пришла в клуб вечером, позвала Якова, но вышла Фрида, его мать.

— Не жди Якова, он не приходит. Мы, наш фамилия, не дает тебя в жены, не берет. Это наш слов. Уходи...

Мария помнит, как она страдала, как плакала ночами, мешая всем спать. Федора утром предупредила, что мать сердится, называет ее немецкой подстилкой и в квартире отказывает. Она пошла на работу, а навстречу братик бежит:

— Машка, тебя мамка зовет. Она упала нынче, кровь изо рта идет!

Вбежала в дом, встала перед кроватью на колени. Заметила, что полы давно не мыты и наволочки на подушке не стираны. Мать открыла глаза:

— Дочка, ты остаешься старшей, на тебя надежда. Проклятье мое прости, я уж молилась за тебя. Но за немца не выходи, грех это перед отцом и братом твоим. Обещай, я помираю.

Она крепко взяла дочь за руку и сдавила до боли.

— Поклянись.

Мария ткнулась матери в грудь и кивнула. Мать шумно выдохнула и затихла, вытянувшись.

Потом пришел из госпиталя Афанасий Хлынов, в грудь ему прилетел осколок; ничего, выдюжил. Он еще до войны ушел на службу, Машу встретил на улице и остановил:

— Ты чья будешь, красавица? Не признаю совсем.

— Каурова Ивана дочь.

— Верно, вот теперь вижу породу. А отец?

— Убило его, и брата Гришу тоже убило. И мама весной померла. — Маша заплакала, как перед близким человеком.

— Ты не реви, слезами горю не поможешь. Выходи вечером после управы, поговорим.

— Нет, не выйду.

Афанасий обиделся:

— Что, не глянусь я тебе? Или старым считаешь? Верно, не мальчик. Или боишься, что раненый, работать не смогу?

Маша заревела в голос и убежала.

Поздно вечером, когда уложила ребятшек спать, услышала, что сбрыкала жердочка воротная, песик залаял. Сердце заколотилось: «Яков!» Надернула платьишко, выскочила. Среди ограды под яркой луной стоял Афанасий.

— Зачем ты пришел? — зло спросила Мария.

Афанасий помолчал, потом предложил присесть на завалинку.

— Ты мою судьбинку знаешь, все на глазах. Отец и братья погинули на войне, мать тут с горя повесилась. Пришел в дом — живым не пахнет, зиму простоял нежилым. У тебя тоже хорошего мало, сватов присылать не буду, сам сосватаю, если судьба. Приглянулась ты мне, да и породу вашу знаю. Что скажешь, Мария? — с надеждой спросил Афанасий.

— А все ли ты про меня знаешь, дорогой мой сватовщик? Знаешь ли, что немца я полюбила, замуж за него собиралась, да родня его, фамилия, не захотели русскую сноху. — Мария говорила это со злостью на все: на войну, на маму, на Якова, на свою случившуюся слабинку тоже.

Афанасий не перебивал, закурил, глубоко затянулся и закашлялся, втоптал папиросу в землю. Сказал, как бы извиняясь:

— В легкое ранен, врачи курить запретили, но бывает, срываюсь. Я тебе вот что скажу, Маша: мне про тебя и про немца все уши пропели, только я битый на трех фронтах, чтобы такой дешевкой быть. Признаюсь, я тоже не ангел, успевал, если баба подворачивалась. Так что ж теперь из-за этого нам в разные стороны? Нет, так дело не пойдет. Оно, конечно, если не люб я тебе совсем, то я без претензий, но жалеть буду. А что до

меня — попала ты мне в самое сердце, как будто еще один осколок прилетел, только радостно от этого осколочка, и сердце замирает.

Маша вдруг спросила:

— А ребят я куда?

Афанасий вскочил, обнял ее:

— Маша, да об чем ты заботишься? У меня дом больше, все войдем.

И сестер с братом вырастим, и своих народим.

Так на диво всей деревне образовалась новая семья. Афанасий пошел в плотницкую бригаду, все-таки на свежем воздухе, и сосновый да березовый запах очень для легких пользительны. Выбери он тогда другое занятие, не поехал бы в тайгу сосны валить, не захлестнуло бы его ветвистым деревом, не осиротели бы детки и сама не жила бы оставшей вдовой.

Яков женился на немке из соседнего села, ее звали Эльза, он освоил столярное дело и в колхозной мастерской вязал рамы, делал двери к строящимся домам, угодил председателю, украсив его дом резными ставнями, и тут же выкупил красный лес на дом. Дом рубили «помочами», когда приходили родственники, друзья, соседи. Уже не только немцы, но и русские мужики не таили ненужной обиды, они-то, прошедшие фронт, хорошо понимали, что их немцы — не враги, а односельчане. Эльза родила шесть или семь ребятешек, старший уже работал трактористом, а младшие ползали в ногах у матери. На ограде поставили избушку, в которой хозяин занимался швейным и столярным делом.

...Мария подошла к резным тесовым воротам, повернула ручку калитки, здоровый и злой пес в железной загородке подал сигнал, вышла Эльза, располневшая и улыбчивая. Мария, понимала, что жена Якова знает про их отношения, но вида не подавала. Хозяйка прикрикнула на собаку и позвала Якова, по-немецки объяснив ему что-то. Он вышел, опираясь на костыли, улыбнулся гостье и спросил:

— Ты мне работу принесла? Проходи.

Сел на низенькую табуретку, развязал узел, гостья села на скамейку. Три пары пимов, изрядно поношенных, но просушенных и проскобленных от грязи тупым ножом. Ему это понравилось.

— Мария, я поставлю на валенки двойную заплатку, у меня есть такой материал, прошью плотнее, и будут твои ребятяшки носить их еще не один год. Как живешь, Мария? Сын говорил, что дочка твоя на ферму пришла работать. Не от хорошей жизни, да. Жалко Афанасия, он добрый был человек, мы много раз с ним беседовали о жизни. Жалко. Ты совсем не старишься, Мария, правда. Тебе надо найти хорошего мужика, чтобы хозяин был.

Мария улыбнулась:

— Хорошие мужики все при деле, а те, кто цупать лезут — не мужики, так себе, в поле ветер... Да и дочь у меня на выданье, стыдно матери о замужестве думать.

— Ладно. Приходи в воскресенье, в обед, все будет готово. — Яков предупредительно поднял руку: — Ни о каких деньгах и речи быть не может. Эх, Мария... В общем, в воскресенье в обед, только сама приходи, битте.

Он проводил ее и открыл дверь. Мария прошла по двору под пристальным взглядом Эльзы.

Устин Денисович не просто так поехал тем переулком, которым Нине домой идти. Ночь, зги не видать, но идут по дорожке двое, поближе подъехал — Наталья вечно не в свое дело нос сует. Понужнул Жулика, пролетел мимо. Досада брала, что обнаружил свои намерения, а Наташка точ-

но учуяла, отомстила, что когда-то завалил ее в бытовке, ладно, что девочками ведрами забрякали, вскочил, ширинку под гимнастерку спрятать успел. Тогда после дойки она подошла к бригадиру и улыбнулась:

— Кожин, я своему скажу, что ссильничал меня, он к тебе домой придет и прямо в теплой постели около Апроши твоей зарежет. За ревность много не дают, да еще бабы поддержат, года три, не больше, лес повалит в тайге, ему это запросто.

Устин возмутился:

— Наталья, ты дурочку-то не гони, а то и вправду брякнешь своему, а ему человека зарезать...

— Вот и я про то же, — закончила за него Наталья, и больше он к ней не подходил.

Дома выпряг коня, поставил под сарай, большой кусок брезента, свернутый в рулон и закрепленный под крышей, опустил, бросил из кошевки охапку сена и сыпанул из мешка полведра овса. Через часик вынесет ведро теплой воды из дома. Коня своего Устин берег, он его и от зверя, и от недобрых людей уносил. Года три назад на подъезде к селу выскочил на сугроб мужик с ружьем, Жулик то ли его испугался, то ли порох почувял — рванул в галоп, хозяин едва в кошеве удержался. А тот выстрелил, да из другого ствола. Картечь просвистела у самого уха и ударила Жулика в бедро. Кровь хлынула, конь сбавил ход, испуганный Устин повернул к дому ветеринара, выдернул его из-за стола, и в лечебницу. Зажали Жулика в стойле, ветеринар, выдернул рану осмотрел, командует: «Держи его, Устин Денисович, потому что резать придется, картеча глубоко». Обнял он конскую голову, ласковые слова шепчет, а у коня слезы из обоих глаз. Нетанета вынул ветеринар картечь, Устин ее вытер от крови, в карман положил, а сам налил из бутылки в шкафчике стакан спирта и залпом выпил. Конь тогда неделю в лечебнице простоял, ничего, выправился.

А Кожин по пути домой перебрал всех баб, которых трогал в последнее время, и сразу прикидывал, а не охотник ли у нее мужик? Таковых определил два, но заявлять никуда не стал, решил сам разобраться. Выяснилось, что один, тракторист Фомин, в это время лежал в больнице, остался учитель физкультуры Супрун, парень здоровый и развитый. Поглядев на него со стороны, Кожин решил, что дешевле это дело вообще замять...

В июле 1944 года ранним утром, на восходе солнца, наступающие войска Красной Армии освободили польский город Люблин и вслед за ним маленький городок Пулавы с лагерем военнопленных. Разбираться было некогда, для больных и слабых развернули госпиталь, здоровых после формальной проверки поставили в строй. Вместе со всеми красноармейскую книжку и автомат получил Устин Кожин, хотя лейтенант СМЕРШа внимательно на него посмотрел и спросил:

— Давно в плену?

— Три месяца, товарищ лейтенант

— Где воевал?

— В партизанском отряде под Ровно, товарищ лейтенант.

— Вид у тебя, будто ты не в лагере, а в санатории был, — подозрительно посмотрел офицер.

— Я, товарищ лейтенант, старшим был по бараку, так что продуктов хватало.

— Ладно, воюй, потом разберемся.

Разбраться лейтенанту не пришлось, когда проходили Пулавы, лейтенант был убит выстрелом в голову. Кинулись искать фашистов, все дома прочесали, в каждую квартиру заходили — нет никого. И лейтенанта нет.

Кожина зачислили в пехотную роту. Ломая сопротивление оставшейся после прохода танков немецкой пехоты, рота вместе с соседями медленно продвигалась, освобождая польские города и села. Во Вроцлаве Кожина откомандировали в комендантскую роту, где он дождался Победы и вскоре, как узник концентрационного лагеря, был демобилизован.

Корнеевка встретила его слезами и улыбками, родные нарадоваться не могли, потому что с весны сорок второго он числился без вести пропавшим. Вечер собрали по такому случаю, фронтовики после первого стакана стали выяснять, в каких войсках воевал, на каких фронтах, много ли наград заслужил. Костя молчал, дождался тишины и спокойно сказал:

— Служил я, ребята, в таком месте, о котором рассказывать не могу, подписку дал. А что касаясь наград, вот они, в коробке, мать прибрала.

На том и закончили.

Через три дня сержант Кожин поехал вставать на воинский учет, но быстро вернулся, сказал, что военкома нет. Второй раз поехал — опять неудачно. Уж и сроки выходят. Прибыл к военкомату, заходить не стал, слушал разговоры, и понял, что завтра военком уезжает в область, за него останется старший лейтенант. Видел Кожин этого офицера, утром приходит с похмелья, с обеда уже в добром расположении духа, а вечером бежит в магазин. Кожин дождался вечера и пошел вслед за старшим лейтенантом, вперед его встал в очередь, купил бутылку водки. Офицер тоже взял бутылку, вышли они одновременно. Кожин на крыльце вытянулся в струнку и четко отдал честь, офицеру понравилось:

— С фронта прибыл, сержант?

— Так точно, товарищ старший лейтенант. А следом телеграмма, награжден орденом Красной Звезды, — напропалую врал Кожин.

— Так это дело надо обмыть, — обрадовался офицер.

— Обязательно, я и бутылочку припас, да выпить не с кем. Вы не порадуетесь со мной, товарищ старший лейтенант?

— Отчего? Это можно. Пошли ко мне, на жену внимания не обращай, поворчит, но картошки поджарит.

После второго стакана Кожин приступил к главному:

— Товарищ старший лейтенант, такую даль ехал, даже пешком шел, чтобы на учет встать, а мне сказали, что военкома завтра не будет. Это же непорядок, когда военком отсутствует, то никто не имеет права солдата на учет поставить. Правильно я говорю?

— Конечно, правильно. У тебя документы в порядке?

— Так точно! — с радостью отчеканил сержант.

— Заночуешь у меня на веранде, завтра пораньше пойдем, пока эти крошечки не явились, и я заполню карточку прибытия. Какие могут быть проблемы?

— Вот спасибо, товарищ старший лейтенант, я вас разбуду, — пообещал квартирант.

Утром полупьяный офицер с трудом заполнил бланк, разыскал ключ от сейфа, достал печать, подышал на нее и тиснул в военном билете Кожина. Костя сам прочитал учетную карточку, заполненную под его диктовку, и вернул офицеру:

— Быстро все приברי, сейчас сотрудники придут, — скомандовал он офицеру.

— Понял. У нас есть чем похмелиться? — с надеждой спросил уже спившийся старший лейтенант.

Костя поставил перед ним купленную утром бутылку и быстро вышел...

Трое суток пехотный батальон сдерживал прорыв противника на вверенном участке, солдаты вымотаны были до крайности, спали сидя, ели, отбежав триста метров к подъехавшей кухне, если враг позволит. И вдруг танки развернулись для атаки, а у ребят по три гранаты на всякий случай, да в каждом взводе по десятку бутылок-зажигалок. Комбат дал команду от каждого взвода по пять человек выдвинуться вперед и встретить танки гранатами и бутылками. Поползли мужики на верную гибель, даже не оглядывались. На белом снегу грязные солдатские фуфайки — хорошая цель, пулеметчики из танков безжалостным огнем прошли худенькие солдатские тела, так и остались они во всеоружии, и плавился снег от теплой крови под остывающими русскими мужиками. На танках пехота, соскочили солдаты, залегли до лучших времен, а танки вдоль окопов, по живым людям. Кто уцелел — выскочил, а автоматчики уже кричат ту единственную фразу на немецком, которую знал каждый русский солдат. Его учили так брать в плен противника, а тут сами вляпались, без перевода понятно. Только поднял винтовку — сразу очередь, в спину прикладами автоматов погнались несколько немецких солдат серую массу обезумевших от беды мужиков в свой тыл от линии фронта.

Первые дни держали в бывшей колхозной ферме, разрешили жерди ломать и жечь костры, чтобы не замерзнуть. Привозили кашу и кипяток, кто-то нашел в закутке сено, мелкое, лесное, с листочками и даже цветочками полевыми. Степан Кондаков не выдержал, заревел горючими слезами:

— Братко, перед мобилизацией, уже повестки получили, завтра в район, а мы сено дومتывали в Коровьей Падье — помнишь? Вот такое же, с чабрецом, с визильком молодым. Помнишь?

Семен обнял брата:

— Все помню, только ты слабину свою оставь, фашист слезы увидит — всей Германии сообщит, что уже плачут русские солдаты, пощады просят. Не моги, брат, терпи.

Подняли на восходе солнца, построили, дали команду грузиться на машины. Потом целый день везли на грузовиках, разместили в приличном бараке и объявили, что здесь будет большая стройка. Перед строем прохаживалась охрана из солдат и полицаев. Полицаи были в хороших бушлатах и шапках, в теплых сапогах, один из них форсисто разворачивался на каблуках и вставал лицом к строю, любуясь и хвастаясь. Уж на третий раз Степан ухватил брата за рукав:

— Сема, это же Кожин из Корнеевки, помнишь, на призыве вместе были?

— Да нет, вклепался ты.

— Да он, гляди! — горячо шептал брат.

Семен похолодел: точно, похож! И брату:

— Натяни шапку потуже, да не гляди на него, узнает — сразу к стенке, чтобы, не дай бог...

Отряд, в который попали братья, отправили на рытье канавы под фундамент, промерзшую землю долбили кайлом, дальше лопатой. Старший бегал с меркой и материл, что мелко, надо еще на штык. Полицаи ходили поверху, покуривая, но Кожин не появлялся. Семен после рабо-

ты, разместившись на нарах так, чтобы ослабить натруженную спину, спросил брата:

— Ты и теперь точно веришь, что его видел, а не другого?

— Кого другого? — переспросил Степан.

— Ну, мало ли что? Вдруг просто похожий. Мы ведь только раз и встретились на призывной комиссии.

— Это ты раз, а я с ним на мельнице в Малышенке вместе был, помнишь, перед войной последнюю пшеницу на сеянку мололи? Вот в тот раз и видел. Он это, — заверил Степан.

— Ладно, тогда осторожней, вдруг появится? — предупредил Семен.

— И чего ему нас бояться? Отсюда, похоже, нам одна дорога, на родине не бывать, в контрразведку не наступишь, — рассудил Степан. — А может, устыдится он земляков. Есть же совесть какая-то.

— Нету у него совести, Степа, какая совесть у полиция? Ладно, спим, — скомандовал Семен.

Наступила весна, в этих краях ранняя, зелень появилась, зацвели кустарники, но запахи не наши, не родные. Семен вспоминал ночью, когда во влажном воздухе скапливались незнакомые ароматы, как дома в такое время мать открывала створки, черемуха с сиренью вламывались прямо в дом, аж сердце заходило от милого духа. И до того тоскливо стало на душе, до того пакостно: ты, русский мужик, горбатишься на эту сволочь, которая страну твою и дом твой разорила, ребят самолучших сгубила, девушек наших по березам твешала. Да лучше пулю получить в затылок и упасть лицом к дому!

Днем выбрал время, подозвал брата:

— Бежать надо, Степа!

— А куда? Где мы находимся?

— А что тебе не понятно? На восток надо бежать, навстречу своим, — пояснил брат.

— Нет, Сема, в чужой земле мы долго не протянем, на людей выйдем, и все тут.

— А, может, на партизан? — с надеждой сказал Семен.

— Какие тут могут быть партизаны?

Вечером в бараке к ним подошел средних лет мужчина, гимнастерка с чужого плеча, сразу видно, брюки солдатские великоваты.

— Вы, парни, не братья ли будете? Уж больно лицами схожи, — начал он издалека.

— Братья, близнецы, я Семен, он Степан. Даже отец путал.

— Славно. Вы из 141-го батальона? Я там начальником штаба был, окружили, застрелиться не успел, гранатой оглушили. Очнулся на руках товарищей. Они и переодели, выбросили офицерскую форму.

— Как-то странно, товарищ командир, что вы нам об этом говорите, не боитесь, — поинтересовался Степан.

— Своих не боюсь, вас наблюдаю, хорошие вы парни. Что дальше будем делать?

— Наверное, еще что-то строить надумают, — невпопад ответил Семен.

Гость засмеялся:

— Я о будущем говорю. Наши уже границу с Польшей сломали, будут ближе подходить — нас могут расстрелять, чтобы не возиться. Надо уходить. Согласны?

Братья кивнули:

— Сами об этом говорили.

— Понял. Когда появится возможность, дам знать, — пообещал офицер.

Возможность появилась неожиданно. Из-за высоких облаков бесшумно вывалился самолет со звездочками и, проходя над стройкой, сбросил пару бомб. Рухнула выстроенная стена, поднялась паника, вот тогда и раздался крик:

— Кто может — бежим на восток! Быстро!..

Выборная кампания в местные органы государственной власти требовала постоянного внимания первого секретаря райкома партии. В этой должности Хмара пятый год, но родился в районе и всю жизнь здесь живет и работает, кроме отлучки на войну и учебы в высшей партийной школе. Потому он хорошо знал почти все взрослое население, тем более людей, отличающихся в труде и общественной работе. Он еще раз просмотрел списки кандидатов, кажется, все пятьдесят человек, намеченные в районный совет, знакомы не один год, все люди порядочные, уважаемые, в общем, достойные, и избиратели это оценят.

Хмара был в селе Корнеевке на большом собрании в клубе по выдвижению кандидатов в местный и районный советы. Когда дошли до фамилии Кожина, намеченного райкомом на должность председателя исполкома сельсовета, одобрения зала он не услышал. Только что обсуждали доярку Терлееву, зал шумел:

— Пойдет!

— Хорошая работница, и в семье порядок.

— Записывай, голосуем.

А тут тишина нездоровая. Но выручил парторг колхоза:

— Товарищ Кожин работает бригадиром животноводства центральной бригады. Планы все выполняются, обстановка в коллективе нормальная, вполне достоин быть депутатом сельского совета.

Проголосовали. После собрания Хмара оставил парторга и председателя колхоза:

— Что скажете по Кожину? Только без игры. Почему народ так отреагировал?

— Да нормально отреагировал, Василий Федотович. По руководителям всегда будут вопросы, кого-то обидел, с кого-то спросил лишнее.

Хмара нахмурился:

— Что значит: «Кого-то обидел?». Кто нам, руководителям, дал право кого-то обижать? Или вы что-то скрываете?

Председатель до сих пор молчал, а тут вмешался:

— Василий Федотович, есть у него грешок, баб любит. И народ об этом знает.

— И ты знаешь? — спросил парторга.

— Не то чтобы знаю, но разговоры есть, а что было на самом деле — я же со свечкой не стоял.

— Твою мать! — выругался Хмара. — Бригадир моральный разложенец, а мы его в депутаты, а мы его в председатели. И народ скажет: «Его же райком двинул, значит, для всех начальников и коммунистов закон не писан». И самое печальное, что народ будет прав, если мы сегодня же не примем меры к этому... любителю. Разберитесь, и завтра мне доложишь, товарищ парторг.

Парторг возмутился:

— Кожин беспартийный, Василий Федотович, какие меры я могу принять?

Хмара спокойно и поучительно разъяснил:

— Вот ты, молодой парторг, запомни раз и навсегда: ты отвечаешь за все, что происходит на территории совета и колхоза. Вот он, — Хмара ткнул пальцем в сторону председателя, — он отвечает за колхоз, а ты за все. Понял?

К обеду следующего дня парторг позвонил первому и доложил, что проведено дополнительное собрание по поддержанию кандидатуры Кожина прямо на животноводстве, коллектив проголосовал единогласно. Протокол собрания обещал привезти к вечеру.

Хмара об этом инциденте вскоре забыл, тем более что выборы прошли организованно, не было отказавшихся от голосования, хотя в трех селах членам избиркома пришлось уговаривать супругов, пообещав от имени советской власти удовлетворить их просьбы, и они опустили бюллетени за пять минут до завершения голосования.

На первой сессии Кожина избрали председателем исполкома, бухгалтер проинформировала, что председателю назначается оклад в размере зарплаты по прежнему месту работы. Кожин в перерыве убедил председателя колхоза передать в совет лично для него жеребца Жулика вместе с кошейкой. На летнее время в совете есть мотоцикл М-72.

Устин был хорошим хозяином, дом свой содержал в порядке, хозяйство имел солидное: корова, бычок-подросток, это в колхоз за хорошие деньги, свинья породистая, каждый год приносит два помета по десятку поросят, а спрос на них постоянный, дюжина овец. Малого теленка и овец весной угонял к казахам на лесные стоянки, где они пасли колхозный скот, осенью выбирал самого упитанного бычка из колхозных, а казахи все равно, лишь бы число голов и хвостов сходилось. Детей у них с Ефросиньей не случилось, может, потому вольно гулял мужик, отлавливая свободных женщин и чужих жен.

С замужними сложнее, припугивал, что работы лишит или припишет телка павшего, а то и корову, по ее вине загубленную от молока, и бабы молчали. Но молва гуляла, прорываясь редкими драками в семье, когда пьяному мужу кто-то подзуживал насчет Кожина, мол, видали скотники на выпасах, как он ее на Жулике в лес увозил. Да, можа, и не возил, а увозил, но не ее, а так в компании мужику продиктовали. Ну, и драка, бабу отберут, несколько ночей по людям ночует, потом домой идет, знает, что трезвый, да и ребятишки за руку тянут каждый вечер. Придет, а мужик в глаза не глядит. И начнет бабочка воспитывать:

— Дурак ты, Ваня, ведь пятнадцать годов живем, ребятишек народили, а ты в ревность ударился. Пусть язык отсохнет у того, кто тебе под пьяную задницу такую пушку отлил. Ишь, зарос весь, поди, обовшивел без меня. Топи баню, такого грязного я тебя на постель не пущу.

И загремят ведра, с звоном лопаются толстые полешки, чтобы мелкие лучше горели и быстрее нагрели, и задымила труба, выпускающая в высокое небо столб белого березового дыма. А после бани мир в семье. Виноватый мужик ребятишек на полати шугнул, в горнице жене спину промокнул махровым полотенцем, даже волосы расчесать не дал, обнял со спины, ухватился за влажные груди, она состонала и махнула на все рукой...

А молоденькая доярочка Нина Каурова так с ума и не шла. Для приличия приезжал на ферму к началу дойки, разговоры вел о выполнении

планов и обязательств, хвалил передовиков. Все как и раньше. А сам бумажку с расписанием ночных дежурств доярок просмотрел, даты напротив фамилии Кауровой запомнил. И в такой вечер, когда все животноводы управились и разошлись по домам, а ночная дежурная осталась одна, Устин толкнул дверь в чистый коридор, где было приемное отделение и красный уголок, комната отдыха для доярки. Дверь оказалась на крючке. Он постучал, голос Нины:

— Кто?

— Ниночка, открой, — ласково пропел мужичок.

— А, товарищ председатель, ночами посторонним в базе делать нечего, — смело ответила девушка.

— Поговорить с тобой хочу, дурочка, зря ты меня чураешься, — растекался Устин.

— Да некогда разговаривать, у меня корова начинает телиться в родильном.

И ушла. Кожин знал каждый закоулок на ферме, прошел с обратной стороны, в фетровые валенки снега начерпал, но дверь открыл, в полной темноте, наощупь пробрался в базу и прокрался к комнате отдыха. Вдруг в спину ему сильно уперлись вилы, уже проткнули кожаную тужурку и коснулись тела, он невольно подался вперед и уперся лицом в стену.

— Нина, не дури, это хулиганство! — тихо сказал Устин Денисович.

— А крадчи проникать на ферму, это с какой целью? Может, теленка украсть или корову увести? Вот сдам вас утром в милицию, и пусть разбираются.

— Нина, убери вилы, у меня уже кровь по спине течет. Вилы грязные, заражение может быть. Убери! — уже не грозил, а просил председатель.

— А может, это и к лучшему. Будет заражение, что-нибудь отрежут, чтобы к молоденьким девушкам не лазили черным ходом. Ладно, разворачивайся — и к двери, крючок снимай и бегом домой. Если что — я ткну вилы, заколю, и суд меня оправдает.

— Согласен, ослабь, я к дверям, — униженный мужчина едва сдерживал себя.

Сидя в кошке, ощущал липкую кровь под задницей, с ужасом думал, что делать. Только к сестре: Зинаида поругает, но поймет и не сдаст ни жене, ни улице. Постучал в ворота, в комнате загорелся свет, женский голос:

— Кто там среди ночи?

— Зина, пропусти, помоги мне.

Испуганная сестра впустила позднего гостя, он скинул тужурку, вязаную кофту и рубаху вместе с исподней. Зинаида глянула на спину и ахнула:

— Устин, ты это где так?

— Зина, потом, промой раны и смажь чем-нибудь, чтоб заражения не было. Это вилы, — с трудом признался брат.

— Вилы? — изумилась сестра и принесла теплой воды, протерла спину, промыла раны, предупредила: — Не молодуха ли какая на ферме отбивалась? А теперь терпи, любовник хренов, самогонкой буду мыть.

Устину хотелось орать от боли и злости. Зинаида подложила ватки с какой-то мазью и перетянула все тело разорванной простыней.

— А теперь снимай штаны, кальсоны надо стирать, наденешь Ивановы.

Брат возмутился:

— После покойника не надену.

— Ну, ходи голышом, брюки замывать надо.

Устин нехотя надел кальсоны, Иванову же рубаху.

Зинаида предложила:

— Тебе лучше заночевать у меня, а завтра в больницу.

— Ты о чем, какая больница, чтобы вся деревня знала? А до властей дойдет — попрут с работы, — расходился брат.

Зинаида вздохнула:

— Устин, все равно узнают, тот, кто тебя колол, скрывать не будет. Кого опять домогался? — поинтересовалась сестра.

— Да-а-а, дурочку одну хотел пощупать, а она оказалась шустрой, — зло ответил Кожин.

— И вот результат любовной ночи. Ночуй, утром посмотрим, если краснеть не будет, сделаю перевязку, а Ефросинье скажешь, что в районе задержался, — с простой души посоветовала Зинаида.

— Ага, я из дома уехал уже потемну, после ужина, — грустно кивнул Устин. Сестра развела руками:

— Тогда придумай сам.

Матери Нина говорить ничего не стала, зачем расстраивать? Еще пойдет, не дай бог, правду искать. После ночного дежурства доярке полагается выходной. Нина встала еще до восхода солнца, прибрала в доме, постирала скромненькое бельишко, побелила стены и большую русскую печь на кухне, а вечером собралась в клуб. После кино объявили танцы под радио-лу, ее подружек-школьниц дежурный учитель, физик, попросил покинуть вестибюль, после десяти вечера надо быть дома. Окинула взглядом компанию — ничего интересного, поднялась, чтобы домой идти, а тут музыку запустили, «На побывку едет молодой моряк», и прямо к ней идет самый настоящий моряк, подошел, поклонился, каблучками прищелкнул:

— Разреши, Нина, пригласить тебя на танец!

Нина чуть не расхохоталась, это же Володька Бородин, сосед, два года назад в армию проводили.

— Здравствуй, Володя, ты насовсем прибыл? — спросила она.

— Нет, только на побывку, как тот моряк из песни. Впереди еще два года.

— Интересная у тебя служба?

Володя ответил:

— Трудная, но и интересная, полмира уже повидал. Правда, в основном с борта, на берег не каждый раз отпускают.

— Вон моряк поет про подругу нежную, которая ждет. Ты тоже обзавелся? — подмигнула Нина.

Володя засмеялся:

— Нет. И не собираюсь. Я планирую домой возвращаться, не каждая в Сибирь согласится ехать, а для просто так — смысла нет.

Заскрипела пластинка, кончилась песня, Володя предложил:

— Пойдем на улицу, хочу по деревне родной пройти, соскучился. А ты как?

— Да никак, не спрашивай, — махнула она рукой.

— Ты что, Нина, или обидел чем? Я же по-свойски, — смутился моряк.

— Хвалиться нечем, школу бросила, дояркой работаю, подъем в четыре, весь день на ногах, а зарплата зимой — только на хлеб да сахар.

— А я тебя сразу узнал, хоть и повзрослела ты за эти годы, настоящая невеста, — похвалил Володя.

— Ну, так поспатай, если невеста, — озорно засмеялась девушка.

Володя осмелел:

— Нина, я серьезно тебе говорю, что понравилась мне сразу. Уходил-то — ребенком была. Если согласна — станем переписываться, и мне легче, буду знать, что есть у меня девушка дома, ждет. Приду, в техникум поступилю заочно на механика, и ты тоже — на зоотехника, свадьбу сыграем, дом построим...

— Ой, Володя, куда тебя понесло! Уж и дом, и свадьба, только про ребятишек не сказал. А ведь два года, — напомнила она.

— Это только кажется, что два года, а на самом деле — два похода по полгода, и все, — штатно ответил матрос.

— А как же письма? — спросила Нина.

— Так. Сразу целый мешок получишь, а если удастся, пришлю тебе из Индии или из Австралии. Ребята находят русских и отдают письма, те отправляют. Нина, — Володя взял ее за плечи, — ты можешь не верить, но я ни разу не целовался с девушками. Можно, я тебя поцелую, хоть в щечку.

Она приподнялась на носках, и он коснулся ее прохладной щеки, потом стал искать губы, Нина не пряталась, Володя целовал ее неумело и нежно.

— Ну, все, — сказала Нина. — Мы ведь домой пришли. Проводи меня до ворот и поцелуй еще раз. Ты сколько будешь гостить?

— Десять дней.

Нина взяла его за руки:

— Если завтра не передумаю, то буду тебе писать и ждать. Вроде как жених мой будешь. Пошла я, Володя, мне в четыре вставать на дойку.

Он стоял долго, пока в комнате горел свет, Нина раздевалась и разбирала свою кровать, потом свет погас, и Володя быстро отбежал: из темной комнаты его под фонарем хорошо было видно. А он стеснялся.

Еще девять вечеров Нина и Володя встречались, уже поздно, после дойки. У Володи отец строгий, но сын насмелился и попросил разрешения привести Нину в избушку на ограде, она же летняя кухня, она же мастерская у отца. Разрешил, улыбнулся: «Только без баловства». Сын покраснел.

Обнимались, целовались на стареньком диване, пытали, наивные, друг дружку:

— А ты вернешься, не обманешь?

— А ты будешь ждать, не задружишь с кем?

— Володя, адрес ты мне не сказал! — в последний вечер спохватилась

Нина.

Володя нашел на верстаке тетрадку отцовскую и карандаш, четко написал зашифрованный флотский адрес. Нина прочитала и удивленно глаза подняла:

— А какой корабль? Как тебя искать будут?

Володя посерьезнел:

— Название корабля не указывается, это военная тайна, а имя у нас настоящее, подводная лодка «Ленинский комсомол». Нина, это ты никому, поняла?

Утром с колхозной машиной Володя уехал. Нина попросила девчонок коров подоить, все сидела у окна, ждала, когда выйдет моряк. Подъехала машина, вышла вся Володина родня, Нина закусил губу, фуфайку накинула и за ворота. Володя увидел, улыбнулся, помахал рукой. Вот и все прощание.

Готовились к празднованию Дня Победы, в школе объявили встречу с фронтовиками, троих пригласили. Максим Ключев был стрелком-радистом на самолете, в боях под Москвой по два вылета делали в сутки, так вышло, что Максим за месяц сбил три фашистских истребителя и два бомбардировщика. Получил большой орден, а на другой день их сбили, Максим вывалился из горящего самолета, «Мессершмитт» хлестанул по нему очередь из пулемета и бросил. Максима подобрали наши бойцы, отвезли в госпитале и довоевывал в пехоте. Павел Менделев — танкист, лицо и руки обожженные, три машины от Сталинграда до Праги под ним сгорели, из первого экипажа один остался. Два ордена Красной Звезды, Боевое Красное Знамя, медали. Ребятишки до начала встречи смотрели на дядю Максима и дядю Пашу совсем другими глазами. Соседи, односельчане, а оказывается, герои получше, чем в книжках.

Перед самой встречей на мотоцикле подъехал председатель сельсовета Кожин. В коридоре снял плащ, и все ахнули: на армейском командирском кителе погоны лейтенанта и ордена в два ряда.

Максим и Павел говорить не особо мастаки, тем более перед ребятами, о войне говорили просто, без надрыва, рады, что живые остались, вспоминали друзей погибших, и ребяташки слушали, хотя никто этих героев не знал. Перед выступлением Кожина вперед вышла старшая пионервожата, громко и торжественно объявила:

— Дорогие дети! Сейчас я представлю слово прославленному командиру и нашему руководителю Устину Денисовичу Кожину. Вы видите, сколько у него наград. Он завоевал их в жестоких сражениях, к которым готовился задолго до войны. Вот что писала наша районная газета весной 1941 года, еще до войны.

«Красная Армия разгромит любого врага. Наши славные чекисты во главе с лучшим сыном коммунистической партии тов. Ежовым разоблачили подлый «правотроцкистский блок» убийц, шпионов, предателей. Эти фашистские наймиты Бухарин, Рыков, Ягода и др., хотели разделить нашу счастливую родину между фашистами, восстановить в СССР капитализм. Гнусные убийцы умертвили наших любимых руководителей т.т. Менжинского, Куйбышева, великого писателя А.М. Горького. Это была подлая месть фашистских выродков прекрасным людям, с горячим сердцем, посвятившим всю свою жизнь без остатка служению трудящемуся народу.

Цепным собакам фашистских разведок никогда не удастся видеть нашу родину под сапогом фашистов. Красная Армия и весь советский народ разгромит любого врага.

Я, как курсант полковой школы, беру на себя обязательство овладеть на отлично боевой и политической подготовкой и призываю всю молодежь нашего района через военные кружки ОСОАВИАХИМА изучать в совершенстве технику военного дела. Овладевая большевизмом, еще больше усилить бдительность, чтобы ни одна фашистская гадина не смогла притаиться в нашей стране. Быть всегда готовыми дать сокрушительный отпор врагу, если он посмеет посягнуть на нашу счастливую Родину, на нашу радостную счастливую жизнь».

Товарищ Кожин честно выполнил свою клятву. Предоставляем ему слово.

Кожин встал, гремя медалями.

— Мы, ребята, честно выполнили свой долг перед Родиной, разгро-

мили фашизм. Спасибо Анастасии Николаевне за приятный сюрприз, мое письмо в газету, но я рад доложить, что все, что обещал, исполнил. Как и мои товарищи по оружию Максим Павлович и Павел Михайлович. С праздником Днем Победы поздравляю всех вас.

Когда вышли, Менделев спросил:

— Устин Денисович, ты на каком фронте в конце войны служил?

Кожин ответил:

— На Втором Белорусском. А что?

— Да вот, смотрю, медаль у тебя, как у меня, «За освобождение Праги», а брал ее наш Первый Украинский товарища Рокоссовского. Так что с ними, ошибка вышла.

Кожин побагровел:

— Ты что, Павел, ты в чем меня обвинил? Что я чужую медаль нацепил? Какую дали, ту и ношу.

Менделев улыбнулся:

— Да носи на здоровье, знаю, что и нужная бумага у тебя припасена.

Кожин вышел первым, так рванул свой мотоцикл, что комья грязи полетели в разные стороны.

— Врет он, Максим. И не только про Прагу. И бумагу эту Насте он сам утром принес, мой племяш видел, сказал. Помню, в сорок четвертом отпустили меня домой по ранению, мать его приходила, не видел ли где Костяньку моего, два года писем нет, пропал без вести. И вдруг он объявляется, весь в орденах, как в репье, цел и невредим. Спрашивается: где был?

— Он же всегда говорит, что засекречен, в особых подразделениях служил...

— Где матери письма писать запрещали? Ладно, хрен с ним, только не по душе мне все это.

Володя присылал Нине короткие письма: служу, скучаю, хотя скучать некогда, много работы, готовимся к серьезному делу... И вдруг писем не стало. Нина поняла, что «серьезное дело» — это поход его корабля по морям и океанам, и он начался. Мечтала, что получит письмо из-за границы, с красивыми марками и картинкой на конверте. Но писем не было. А в конце сентября в Корнеевку приехал военный комиссар из района, с ним «скорая помощь», остановились около дома Бородиных, которых Кожин уже предупредил, что приедут представители. Отец и мать сидели на скамейке в избе, напуганные и готовые ко всему, хотя — что должно случиться, чтобы им обоим непременно быть дома и ждать? Оба понимали, что хорошего на их пай не отведено, а что худое — сидели и ждали. Майор военкомата вошел первым, отдал честь родителям и произнес четко:

— Я уполномочен сообщить вам, что ваш сын Бородин Владимир Федотович погиб, выполняя воинский долг. Он похоронен по месту гибели, о чем вам сообщает дополнительно. Командование благодарит вас за воспитание настоящего патриота своей родины. Примите мои соболезнования...

Последние его слова заглушил истошный крик матери, закатилось ее солнышко, черным мороком заволочло разум, сердце ойкнуло и остановилось. Молодой майор, никогда не бывавший в подобном положении, выскочил, уступив место медикам. Матери наставили уколов, вкололи и отцу, который тупо смотрел себе под ноги. Братья и сестры плакали и

горнице. Военком подошел к своей машине, закурил. Собирался народ. Начали задавать вопросы:

— Товарищ майор, как же так, парень служил по третьему году, не салага. Что могло случиться?

— Что это? Войны нет, а тут «при исполнении долга»?

— А тело почему не отдают? Ему место на родном кладбище, да и родителям было бы легче. Где его зарыли?

Военком бросил окурок, раздавил его ботинком:

— Товарищи дорогие, я знаю не больше вас. Получил приказ, выполнил. Знаю, что служил Бородин на флоте, больше скажу: на подводном флоте. А что и как — неизвестно.

Нине кто-то сказал о горе, она бросила недомытые флаги и кинулась в село. Толпу народа около Бородиных увидела издалека, и ноги подкосились, подошла тихонько, слушала разговоры и плакала. Молодой учитель физики из школы взял ее под локоть:

— Вечером приходите ко мне на квартиру, к десяти часам.

Нина подняла мокрые глаза:

— У вас совсем стыда нет, я дружила с Володей, а вы мне почти на похоронах свиданье назначаете.

Учитель смутился:

— Простите меня, Каурова, вы не так поняли. Я хочу, чтобы вы узнали некоторые подробности гибели Бородина.

— Откуда вам известно? — встрепенулась Нина. — А может, он и не погиб вовсе?

— Не могу сказать, приходите, только одна, и ничего не опасайтесь, я человек порядочный.

Нина приехала с летних выпасов, обмылась в теплой баньке, наскоро перекусила и пошла к учителю. Он квартировал у стариков Мыльниковых, жил в маленькой комнатке, устроенной из казенки старшим сыном, который уже женился и поставил свой дом. Нина поздоровалась со стариками, они ее узнали, хотели поговорить, но она прошла вслед за учителем. На столе стоял большой радиоприемник, какие-то приборы и пластины с припаянными круглыми и продолговатыми железками и десятком разных лампочек.

— Каурова, это очень секретно, я сконструировал приемник, который ловит иностранные радиостанции. В десять часов на радио «Свободная волна из Кельна» начнутся последние известия. Они еще раз повторяют то, что передавали вчера вечером.

— А зачем это мне? — спросила Нина.

— Бородин служил на подводной лодке, ты об этом знала?

— Нет, Володя говорил, что служит на корабле.

— Ну, какая разница, подлодка тоже корабль. Слушай, на тебе наушники.

Сам тоже нацепил наушники и стал подкручивать ручки приемника.

«Вы слушаете «Свободную волну из Кельна». Последние новости. На военной базе советского Северного флота идут работы внутри подводной лодки «Ленинский комсомол». Как мы уже сообщали, этот атомный подводный корабль нес боевое дежурство в Средиземном море, якобы сдерживая агрессивные выпады Шестого американского флота. После смены лодка направилась к месту постоянного базирования в Северодвинск, но в Норвежском море в двух отсеках внезапно возник пожар. Ценою собственных жизней моряки задраили перегородки и локализовали пожар.

Погибли тридцать девять моряков, но лодка в надводном положении своим ходом дошла до базы. Советское правительство скрывает от своего народа эту трагедию, все погибшие моряки похоронены в братской могиле, их родственникам сообщили, что моряки погибли при исполнении воинского долга. Но не сообщили, где похоронены их мужья, отцы, сыновья. Ни одна семья не получила материальной компенсации от государства за потерю родного человека. Более того, с родственников берут подписку о неразглашении якобы государственной тайны. Внимание: через несколько минут мы передадим список погибших моряков с советской подводной лодки «Ленинский комсомол». Слушайте «Свободную волну из Кельна». Следующая новость из Москвы...»

Учитель выключил приемник, Нина сдернула наушники и испуганно спросила:

— А список?!

— Подожди, Каурова, приемнику надо остыть. Я включусь через пять минут, они как раз закончат обзор известий и начнут читать список.

Нину била мелкая дрожь, она вышла на кухню и попросила горячего чая, бабушка Мыльничиха налила ей чашку, Нина пила, обжигаясь.

— А что, Нинка, не щупат тебя учитель?

Нина поперхнулась:

— Что вы, бабуся, мы слушаем последние известия.

— Да само собой ясно-понятно, последние известия вон, на тумбочке стоят, а вы в горенке закрылись. Да ладно, дело молодое.

И тут учитель позвал Нину. Она надернула наушники и услышала: «Бородин Владимир Федотович, старшина второй статьи, призван из села Корнеевка Тюменской области...»

Нина прямо в наушниках упала на пол. Учитель поднял ее под руки и повел на улицу. Бабка хихикнула:

— Интересные известия по вашему радиову передают, до потери сознательности.

— Замолчите, — крикнул учитель. — С ней обморок, только что передали, жених ее погиб в армии.

Старуха перекрестилась:

— Спаси и сохрани. Я-то думала, что на радостях она брякнулась.

На очередной планерке в райкоме первый устроил разнос заведующему организационным отделом за плохую работу с кадрами:

— Не модно сейчас вспоминать Сталина, но его умные высказывания знать надо и им следовать. Известная фраза: «Кадры решают все». Но нам небезынтересно, что это за кадры. Приняли редактора со стороны, сектор печати обкома рекомендовал, лишь бы дырку заткнуть, а он у нас через полгода загулял, да так, что неделю найти не могли. Потому особое внимание на руководителей, они от имени партии работают, а у нас человек второй год возглавляет советскую власть на селе и не является членом партии. Владимир Тихонович, пора решать.

Кожина принимали на общем партийном собрании, так рекомендовал Хмара, поскольку глава местной власти должен быть на виду у всего народа. Все равно собрание прошло вяло, рутинно. Кто-то с места крикнул:

— Чего тут обсуждать? Голосуем.

— Райком знает, кого ставит на такие должности.

Но вопросы позадавали, так, для порядка, хотя вдруг женский голос:

— Пусть про вилы расскажет.

Председательствующий, колхозный инженер, переспросил:

— Про какие вилы? Чей вопрос? — Но в зале около ста человек, не вдруг найдешь. — Объяснишь, Устин Денисович?

Кожин помялся:

— Провокационный вопрос. Я тогда работал на животноводстве, доярки сено раздавали в кормушки, у одной вилы сорвались, а я рядом стоял, и прямо мне в спину.

В зале смешки, но проголосовали за прием Кожина кандидатом в члены партии. А он все прислушивался к женскому голосу, стоящему в ушах, знакомый голос, долго понять не мог, потом осенило: это же Наташка, рядом работает с Кауровой, ей эта сучка разболтала. Ладно, найдю способ прижать ее к ногтю, подловлю, даже мужику не скажет.

В следующей газете появилась заметка про партсобрание, и было сказано, что в ряды КПСС принят фронтовик, орденосец, председатель сельсовета Кожин Устин Денисович. Жившие в полусотне километров от Корнеевки в Тюкале братья Семен и Степан Кондаковы районку читали, и в тот же вечер сбежались:

— Сема, вот я сроду беспартийный, но знаю и вижу, что в партии в основном народ порядочный. И как эту гниду могли принять? То-то я вижу в заметках — «Кожин, председатель сельсовета». Даже подумать не мог, что это тот, у них в Корнеевке Кожиных не меньше, чем у нас Кондаковых. А оно видишь, как: фронтовик, орденосец. Что делать будем?

Семен помолчал, потом спросил:

— А что мы можем сделать? Его органы должны были проверить, может, он в полицаях по заданию состоял? Опять же и наград много.

— Сема, да этих побрякушек мы с тобой ведро могли привезти с поля боя, — разошелся Степан. — Помню, назначили меня в похоронную команду, это где-то уже под Варшавой, считай, у каждого солдата вся грудь в значках. А старшина велел мне их снимать и на каждого убитого записывать, потом родным высылали. Я их тогда полвещмешка набрал. Вполне мог стать орденосецем.

— Ладно, орденосец, есть власти, им виднее, — подвел итог Семен.

А на другой день на поле, где они молотили озимую рожь, приехал первый секретарь райкома Хмара, дело к обеду, мужику собрались в кучку, обед из столовой привезли. Хмара тоже попил чаю, со смородиновым листом заварен, вкусно. Семен дождался, когда Хмара отошел в сторонку из кружки листочки выплеснуть:

— Василий Федотович, я хотел про Кожина из Корнеевки спросить. Вам все про него известно?

Хмара напрягся:

— Продолжай.

— Например, что он в плену был.

— А ты откуда это знаешь?

— Так мы же с братцем полтора года на фашиста горбатились, пока не сбегли.

— И он с вами?

— Нет.

— Все. Никому ни слова, рожь уберете, и ко мне. Сразу. Понятно?

Рожь обмолотили, агроном дает команду быстро переоборудоваться на косовицу яровых. Семен подошел, говорит, надо им с братом один день по важным делам. Агроном закричал, что нет сейчас дела важнее уборки, тогда Семен вынул туза козырного:

— Он товарищ Хмара вызывает. Не веришь — позвони ему, уточни.

— Ладно. Но только один день!

Поехали рано утром на Степином «Москвиче», за прошлую уборку получил, зашли в райком, техничка в коридоре пол подтирает.

— Вы куда, ребята, наострились? Тут райком, а не проходной двор.

— Ишь ты, десятый секретарь, раскомандовалась. Скажи лучше, Хмара пришел?

— Тут, с шести часов, не спится ему, уборка.

— Так вот, мы до него.

Поднялись на второй этаж, нашли дверь в приемную, открыли створку кабинетных тяжелых дверей. Хмара говорил по телефону, увидел гостей, махнул рукой: «Заходите!».

Семен рассказал все, как было. Хмара повторил вопрос: а не ошиблись? Тогда Степан дополнил про то, как вместе с Кожиним зерно молотили на Малышенской мельнице летом сорокового года, целый день были вместе, даже бутылочку распили, как земляки.

— Мы почему вам решили сказать, Василий Федотович? У вас власть большая, вы можете проверить, мало ли, что в полициях был, а может, он задание особое выполнял? Прочитали в газете, что в партию его приняли, вот и подумали, а знает ли райком? И что он будет за коммунист, если действительно в предателях был? Вы уж проверьте, товарищ секретарь, чтобы нам грех на душу не взять, не оклеветать честного человека.

Хмара посмотрел на братьев: малограмотные, беспартийные, а ведь не в милицию пошли, а в райком. В них партийности больше, чем в некоторых наших бумажных активистах.

— Давайте так договоримся. Кожин принят в партию в своей организации, ее решение будет утверждать бюро райкома. Мы во всем постараемся разобраться, и решение будет безошибочным. И вас пригласим на бюро, вдруг потребуется. За информацию благодарю, но больше никому ни слова.

Они попрощались, и Хмара проводил мужиков до дверей.

После известия о гибели Володи прошло полгода, никто уж и не вспоминал, только мать не смогла смириться с потерей сына, вроде головой тронулась, лежала, плакала без слез и только просила:

— Приведите меня на могилку моего сына, приведите меня, ведь где-то она есть. Приведите меня...

Возили в больницу, но там сразу предложили отправить в психиатрический диспансер, только пожилая женщина-врач в коридоре шепнула мужу:

— Не вздумайте в психушку, вы ее потеряете. Пусть будет дома. Сколько времени прошло? Ну вот, еще полгода, и она придет в себя. Поите ее настоями трав, сонных, чтобы больше спала. И кормите хорошо.

Нина про это узнала, хотела бы сходить к тете Феше, да неудобно, кто она им? А тут возвращается с вечерней дойки, снежок идет, тепло, и настроение хорошее. Видит: около дома прохаживается парень, сердце вроде екнуло, но тут же смутилась Нина, не тот это парень. Подошла ближе — учитель физики, вспомнила, что зовут его Геннадий Васильевич. Увидев Нину, он шагнул навстречу:

— Добрый вечер, Нина Каурова, в клубе вы не бываете, а мне вроде на ферме не с руки появляться, вот решил около дома вас дождаться.

— У вас еще какие-то новости про Володю есть?

Учитель смутился:

— Нет, к сожалению. Я по другому поводу. Когда мы вместе были там, у приемника, я еще ничего не понимал, а потом понял, простите, что хочу вас видеть. Вас это удивляет?

Нина пожала плечами:

— Не вижу ничего удивительного, хотите видеть — смотрите. Только я не понимаю, зачем вам это?

Физик согласился:

— Да я и сам пока не знаю.

Нина засмеялась:

— Эх, вы, ухажер, пугаете девушку темной ночью, и сами не знаете, зачем.

— Нет, знаю, — твердо ответил учитель. — Вы мне нравитесь, еще там, в комнатке, понравились, но все никак не мог вам об этом сказать.

— Так вы же меня в классе не замечали! И двойки ставили. Забыли? — Нине было интересно разыгрывать своего мучителя законами Ома и правилом правой руки.

— Да, представьте — не замечал. Но сейчас... Нина, давайте дружить? Мне квартиру дали в двухэтажке, однокомнатную, сегодня дали, в выходные попрошу школьную техничку побелить и покрасить. Будете ко мне в гости приходить.

Нина посмотрела на него не как на учителя, а как на простого парня. Симпатичный, умный, трезвый, даже не курит. Работа постоянная и зарплата, наверное, неплохая. И не хам, под фуфайку не лезет. Чем не жених?

— Геннадий Васильевич, подружим мы с вами неделю, месяц, а потом что? — напрямую спросила она.

— Почему только месяц? — удивился учитель. — Можно дольше.

— Господи, какой же вы бестолковый! А замуж вы меня возьмете? — засмеялась Нина.

Учитель растерялся:

— Да! То есть, я об этом не думал, не знал, что все решается вот так вместе, но если вы согласны стать моей женой, я готов хоть завтра подать заявление в загс.

Нина не знала, плакать или смеяться, сама себя просватала, скажи кому — не поверят. А она сейчас все решит, пропади все пропадом!

— Геннадий Васильевич, давайте так: завтра после двух часов, когда уроки у вас закончатся, приходите в сельсовет, с паспортом, я вас буду ждать. Подадим заявление, и через месяц нас зарегистрируют как мужа и жену. Вы согласны?

— Очень! То есть, я рад, я счастлив, Нина, я буду в совете сразу после двух.

— Вот мы и договорились, — грустно улыбнулась Нина. — Поцелуйте меня, и я пошла спать.

Учитель явно никогда не целовал девушек, так неловко он обнял Нину, с такой опаской коснулся ее губ, что она чуть приподнялась и крепко поцеловала его, как тренировалась когда-то с девчонками. Выдохнула и побежала домой.

Секретарь сельсовета подала им бланк заявления, Геннадий сам все заполнил красивым почерком, оба расписались. Секретарь, тоже бывшая учительница и почти соседка Нины, улыбнулась:

— Если вам, молодые люди, невтерпеж, я могу вас и сегодня зарегистрировать.

— Нет-нет, — возразила Нина. — Нам нужен месяц на размышления.

Мы только вчера вечером познакомились.

У секретаря сельсовета очки свалились с носа.

На крыльце Нина сказала:

— Покажите мне квартиру свою, да никого не зовите, сами все победим и покрасим.

В обшарпанной квартире, осмотрев все и определив, сколько надо извести и краски, прикинув, куда ставить стол и кровать, которые жених после ремонта купит в сельмаге, Нина привалилась спиной к косяку и позвала:

— Гена!

Он был на кухне и быстро подошел.

— Ты теперь мой нареченный муж, ну, как бы не совсем муж, но все равно уже не просто ухажер. Потому звать тебя буду по имени, любить тебя буду всю свою жизнь, и ты скажи.

Геннадий Васильевич произнес, как торжественное обещание:

— Я тоже — всю жизнь. Ниночка, всю жизнь буду тебя любить.

— Ты целоваться, наконец, научись? Иди сюда ближе.

Целовались, пока у Нины голова не закружилась.

— Все, Гена, хватит, а то уж дурные мысли в голову полезли.

— Да, и мне тоже.

— Ты их пока не пускай, ладно? — хитро попросила она.

— Кого?

— Мысли, глупенький ты мой!

В тот же день Хмара связался с управлением Комитета государственной безопасности, его соединили с нужной службой, майор выслушал секретаря райкома и ответил, что запрос принят, ему потребуется несколько дней на подготовку материалов для бюро райкома. Через два дня майор позвонил и сообщил, что готов выехать для информирования парторгана на месте.

Чекист привез копии всех документов, касающихся Кожина Устина Денисовича и относящихся к периоду от призыва его на действительную военную службу в 1940 году и до демобилизации в 1945. Просмотрев все бумаги, Хмара спросил:

— Почему органы, имея такие сведения, не привлекли изменника Родины к ответственности?

Майор ответил:

— Вы же фронтовик, помните, какая обстановка была в западных областях и в Прибалтике после Победы, так что вот такая мелкая сошка, за которой не было раскрытых особо опасных преступлений, вроде участия в расстрелах, пытках и прочее, оставалась без внимания. А потом было решено проверить, как тот или иной гражданин, оступившийся, служивший на врага, ведет себя после войны, чем занимается, как работает, как относится к власти и партии. По Кожину есть заключение, что после демобилизации он женился, работал в колхозе, учился в школе руководящих кадров, был бригадиром и даже избран депутатом и председателем исполкома. Остановись он на этом, и вы бы ничего не знали, и мы бы не создавали вам проблем.

— Сейчас его можно судить?

— Комитет не будет поднимать это дело, — категорично ответил чекист.

Хмара возмутился:

— Товарищ майор, но оно все рано всплывет, мы же не можем принять в партию бывшего полицая, и мы сошлемся на ваши документы, которые неопровержимы. Этого от народа не скроешь, тем более что в районе есть люди, которые видели его в форме полицая. Кстати, по наградам: у него полная грудь орденов.

Гость пожал плечами:

— Об этом у нас нет информации. Медаль «За Победу» числится, более ничего. Думаю, вы сами разберетесь с этим. Вот и все, чем я мог бы вам помочь.

Майор уехал, а Хмара соображал, как быть в этой ситуации? Спустить на тормозах, тогда чем мотивировать отказ в приеме в партию? Да и допустимо ли, когда в районе числится больше трех тысяч погибших на фронтах, умолчать, покрыть мелкого позера, до войны публикующего патриотические призывы и торжественные клятвы, а на фронте предавшего Родину и служившего врагу? И его счастье, что нет на нем крови наших людей, не доказано, но молчать об этом нельзя во имя погибших, во имя тех, кто на своем хребте вынес тяготы тыла, тоже бывшего фронтом.

В день заседания Хмара собрал членов бюро за полчаса до начала работы и проинформировал, подкрепляя слова документами КГБ. Все были ошарашены. Договорились, что разговор с Кожиным будет вести только Хмара, в итоге голосование и отказ в приеме.

Кожин вошел в костюме, но все ордена с мундира перецепил на пиджак. Хмара указал ему на стул с торца стола, за которым сидели члены бюро. Началась обычная процедура: решение партийного собрания, заключение контрольной комиссии, вопросы к секретарю парткома. Наконец, заговорил Хмара. Его била мелкая дрожь, он с трудом держал на весу первый документ:

— Встаньте, Кожин. Скажите, где вы находились с октября 1942 по июль 1944 года?

Кожин помучился, но держал себя в руках:

— На фронте, товарищ секретарь.

— Где, в каких войсках, на каком фронте?

— В учетной карточке военкомата все указано, товарищи члены бюро. Хмара бросил на стол лист бумаги:

— Передайте ему. Это твоя подпись?

Кожин пробежал глазами копию своей расписки о согласии служить великому рейху и сел.

— Встать! — неожиданно крикнул Хмара. — Верни документ. Вот, товарищи, читаю: «Я, гражданин России Кожин Устин Денисович, настоящим подтверждаю, что добровольно соглашаюсь служить великой Германии и выполнять все приказы немецкого командования». Дата, подпись. В какой должности ты служил фашистам?

Кожин едва стоял, но ответил четко:

— В полиции.

— Полицаем был? Какие обязанности выполнял?

— Охрана объектов, иногда сопровождение.

— Кого и чего? Кого охранял и сопровождал?

— Склады, технику, учреждения.

— Не ври, Кожин, ты охранял советских военнопленных, тебя видели два наших земляка, как ты вытанцовывал перед шеренгой наших ребят, которые остались верны присяге. Они здесь. Спросить их? Отвечай, было?

— Было.

— Скажи, Кожин, на тебе есть кровь советских людей? Имей в виду, вот документы КГБ, тут все про тебя. Так пытал ты наших людей, расстреливал?

Кожин заплакал:

— Нет, матерью своей клянусь, не пытал и не расстреливал.

Хмара махнул рукой:

— После измены Родине нельзя верить ни одной твоей клятве. Откуда у тебя столько наград?

— У меня они записаны в военном билете, можете проверить.

— Вот подлец, и тут врёт! Сними пиджак, военком, сорви с него орден и медали, оставь только «За Победу!», хотя я бы и этой лишил. Все, Кожин, оттанцевал. В приеме в партию отказываем. Члены бюро, голосуем. Единогласно. Парторгу: собрать сессию сельского совета, вывести из депутатов и выгнать с работы. Председателю колхоза: никаких руководящих должностей, пусть лопату в руки берет. Кожин, свободен. А жаль!

Утром, когда взошло солнышко, деревня уже отряхнула ночную дрему; на машинном дворе заводят трактора, юркие «Беларуси» выкатываются из ворот и в луга; ребятишки-копновозы сбегали в табун, у каждого своя лошадь, каждый припас для дружка подгоревшую хлебную корочку или кусочек сахара, набрасывают простенькую узду, развязывают путы; бабы гонят коров и молодняк за околицу, пастух Ерема залихватски бьет хлыстом, и выстрелы радуют его, как ребенка.

Вчера схоронили Фешу Бородину, не сбылось обещание докторши, так и ушла мать в поисках сына и его могилки. Провожали, как водится, всем селом, без оркестра и без речей, сообщали в военкомат, но никто не приехал.

Учитель физики Геннадий Васильевич и Нина Каурова зарегистрировались и в школьной столовой отгуляли свадьбу. Колхоз подарил молодым холодильник, а учителя скинулись на стиральную машину, современную, с отжимом. Доярки тоже в стороне не остались, всем коллективом пришли и скотников своих привели, вручили квиток на оплаченную электроплиту с тремя конфорками и духовкой, надо только из магазина привезти.

Жена Кожина Ефросинья, когда узнала правду про мужа, собрала свои манатки в узел и ушла к сестре свое Дусе, одиноко живущей в большом доме. Мужу, соседи слышали, сказала: «Проклят ты от людей и от Бога, жизнь свою загубила с тобой, не знала радости материнской и внуков теперь не обнять. Не дал Господь детей, не тебя наказал, меня, а ты так жеребцом и пропрыгал эти годы. Неужто Бог простит тебя?..»

Солнце поднялось уже высоко, обещаая крестьянам сухую и жаркую погоду. Сенокос — работа артельная, дружная, с шутками, смехом, с вкусным супом с зеленью и сметаной, сваренным поварихой тут же, в стороне на костре. И чай на травах с комковым сахаром и сливочным маслом, только вчера сбитым на молоканке.

